

ISSN 0131-6044
РОМАН-ГАЗЕТА
6
(1276) 1996
Леонид Бородин
ЛОВУШКА ДЛЯ АДАМА



МЕМОРИАЛ ЗАЩИТНИКАМ ВОРОНЕЖА

Воронеж... Кому не известен этот старинный и один из красивейших городов России. Столица большого и славного Черноземного края, не раз защищавшая Русь от набегов крымских и ногайских татар. Город, качавший колыбель Российского Военного флота, создаваемого Петром I на реке Воронеж. Крупный культурный и научный центр, город, связанный с именем А.Кольцова, И.Никитина, Г.Плеханова, К.Тимирязева, В.Докучаева, И.Бунина, А.Платонова.

И вот этот город весной сорок второго года решительно встал на пути фашистской армии, рвавшейся к Москве и Сталинграду, явился последним рубежом, на котором враг был остановлен и разгромлен наголову. Проведенное зимой 1942-43 г. войсками Воронежского фронта наступление на Среднем Дону, особенно Острогожско-Россошанская и Воронежско-Касторненская операции, привели к Курской и Днепровской битвам, завершившим коренной перелом в войне.

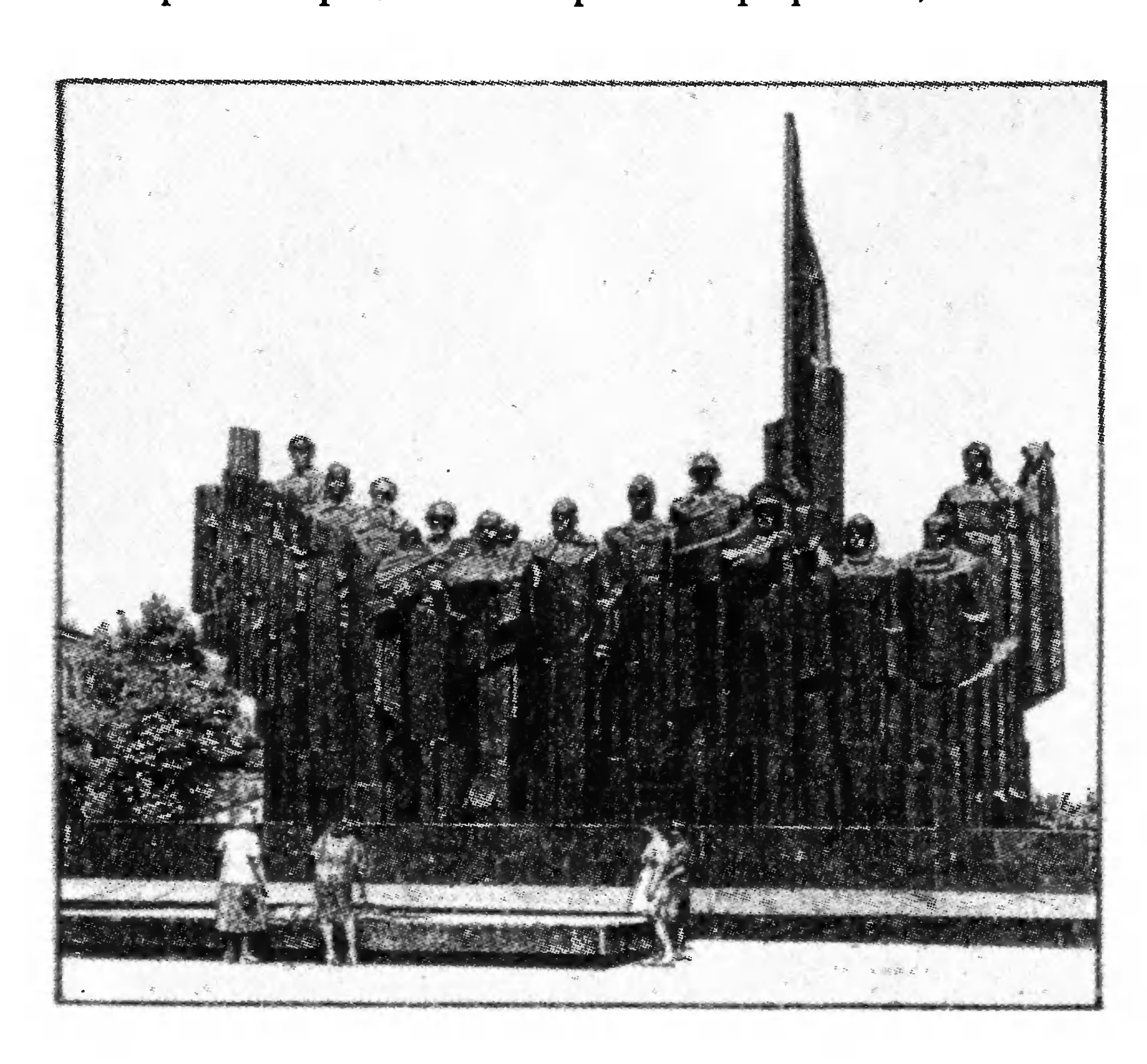
В годы грозного лихолетья Воронеж сражался в одной боевой шеренге вместе с городами-героями Москвой, Сталинградом, Ленинградом, Севастополем, Тулой. Больше шести месяцев Воронеж находился на линии фронта. Его подвиг навсегда останется в героической истории нашей многострадальной России. В честь тяжелой, кровавой, но славной победы над врагом воронежцы соорудили на площади Победы у вечного огня мемориал: в развернутом строю — представители разных профессий, защищавших Родину. На гранитных плитах — перечень воинских частей, сражавшихся за город, за честь и свободу родного края, за Отечество.

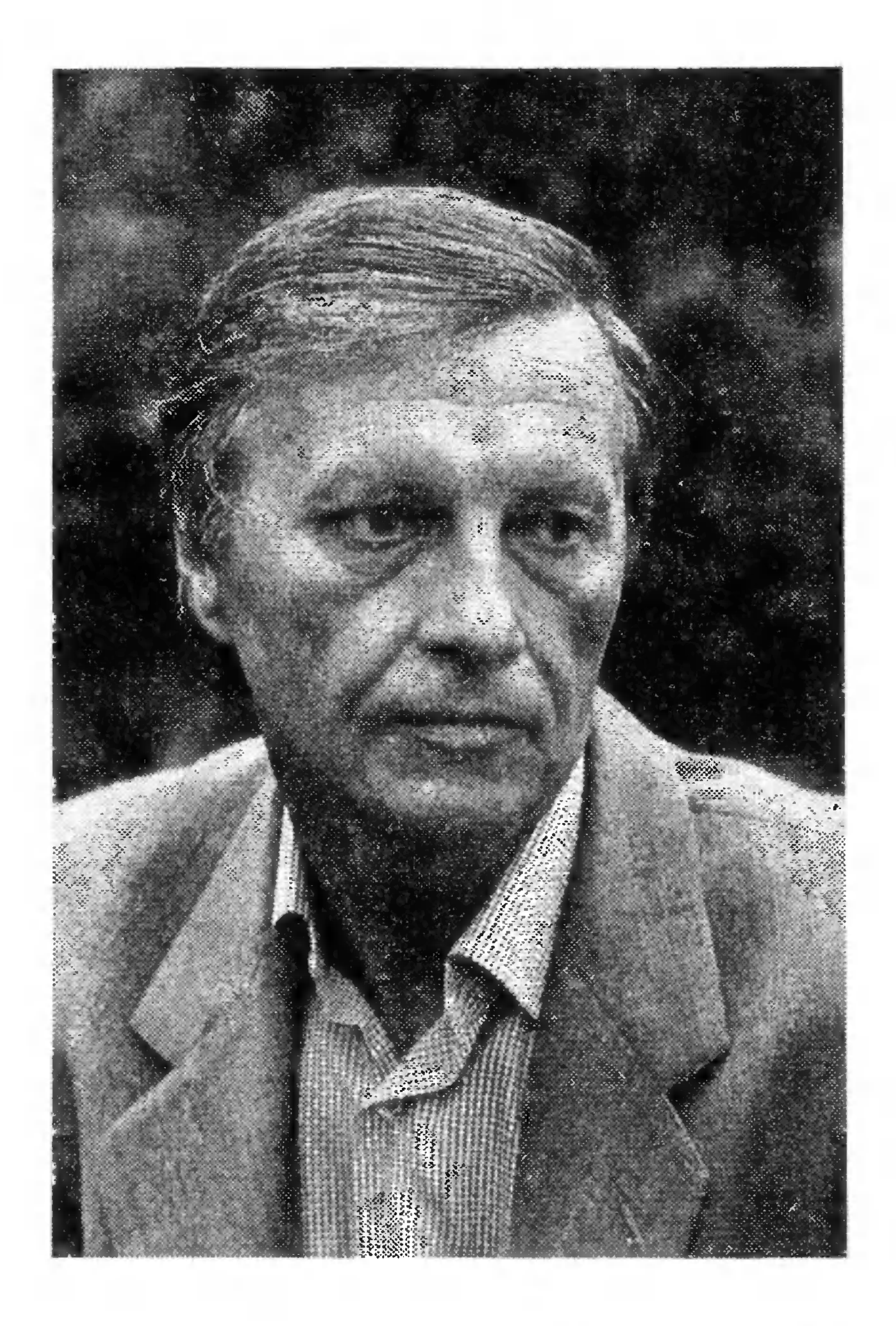
Много других скорбных знаков установлено на Воронежской земле: на печально знаменитых Чижовском и Шиловском плацдармах, мемориал «Песчаный лог», вдоль Дона, реки, много месяцев разделявшей противоборствующие стороны.

От бомбежек, артиллерийских обстрелов и пожаров Воронеж был почти полностью разрушен: уничтожены все промышленные предприятия, электростанции, вокзал... Из руин и пепла вырос новый красивый город, застроенный современными многоэтажными домами.

Счастья вам, воронежцы!

С. БОРЗУНОВ,
полковник в отставке,
участник боев за Воронеж





Леонид Иванович БОРОДИН родился в 1938 году в Иркутске в семье сельского учителя второго поколения. Детство прошло на Байкале. После окончания средней школы учился в спецшколе МВД, где в 1956 году встретил события, последовавшие за XX съездом партии. Ушел из училища, вернулся в Иркутск и поступил в университет, откуда в 1957 году был исключен за политическое фрондерство. Братск, Норильск, Улан-Удэ...

В 1962 году заочно окончил Улан-Удэнский пединститут. Работал в сельских школах Сибири, затем Ленинградской области.

С 1978 года начал публиковаться в издательстве «Посев» — «Третья правда», «Год чуда и печали», «Повесть странного времени», «Расставание».

В 1989 году – лауреат итальянской международной премии «Гринзане кавур». Еще ранее, в 1983 – премии французского ПЭН-клуба «Свобода».

В издательстве «Современник» вышла книга «Повесть странного времени», в Иркутском издательстве—«Год чуда и печали» и другие.

В 1992 году присуждена премия Москвы, в 1993– премия «Роман-газеты» за повесть «Третья правда» («Роман-газета», 1991 г., № 4). С 1992 года – главный редактор журнала «Москва».



Леонид Бородин

ЛОВУШКА ДЛЯ АДАМА

ПОВЕСТЬ

Посвящается матери

Сон, с которого все началось, был о маме. При жизни я не знал ее такой, не видел, не помнил, не понимал. А этот долгий сон состоял из одного печального ее лица. Меня самого тоже не было в сновидении, мой разум лишь присутствовал как нечто бестелесное и вовсе без личности, без прав и желаний, но с единственной функцией восприятия.

Итак, было одно печальное лицо моей мамы, и оно разговаривало со мной своей печалью. Слов не было. Это потом, проснувшись, я перевел все в слова и смыслы. Это потом, вернувшись в собственное «я», разум мой ужаснулся или, точнее, сообщил ужас моим чувствам, и они затрепетали, то есть это я затрепетал, и слезы... и зарыдал бы, если бы дал себе волю. Но сжал зубы и кулаки, тем предотвратив постыдные конвульсии груди, горла и всего прочего, что воссоздает и сотворяет жалкое состояние — плачущего мужчину.

Ничью материнскую любовь не поставлю под сомнение и даже сравнивать не решусь, но, видимо, бывает исключительное и в этом, самом несомненном и достоверном, видимо, бывает, если она, мама моя, смогла, сумела прорваться ко мне оттуда, из небытия, и войти в мое сновидение не буйством и бредом бесконтрольных чувств, а живым и реальным образом, лицом и словом печали, которое я понял, и пониманием этим обязан теперь пересмотреть всю свою жизнь, как человек, предупрежденный о предстоящей катастрофе, предпринимает необходимые меры к ее предотвращению.

При жизни у нас были сложные отношения, но как это и бывает, лишь в утрате познаем мы подлинную ценность утраченного, и попробуй разберись, пошлость или мудрость в этом опыте, ведь он никого ничему не научает, и всякий, будь он умней меня или глупей, познав смысл утраты, готов себе или другим повторять высказанную мной истину, как свою собственную, а раз так, то, возможно, следует говорить о банальности человеческого опыта и о мудрости существования человеческого рода, ведь если никто ничему не научается из рода в род, значит, в том есть некий великий смысл.

Я вот сказал, что были у нас с матерью сложные отношения. Ох уж эта любовь к обкатанным фразам! Ведь порой как кошка с собакой жили. Все старались что-то исправить друг в друге. Мне простительно, молод был да глуп. А она-то как могла не понимать, что пустое это дело — поправлять собственный ген. В обиде на меня ушла из жизни.

Но было же предчувствие, что недалеко ушла, что пребывает где-то в пределах досягаемости, проще говоря, не было ее в небе, когда пялился в небо, и мистика здесь ни при чем, просто любой, утративший близкого человека, иногда без всякого особого замысла обращается к нему словом или мыслью и, разумеется, не получив ответа, остается спокойным, а то и обретает покой и без волнения через минуту забывает и о мысли, и о слове, опускает взор на землю суетную и ныряет душой в суету как в единственную среду обитания.

А у меня же все не так! Всякое вспоминание матери, ушедшей в бесконечность, заставляло отчего-то оглядываться по сторонам, и это нелепое оглядывание порой раздражало и сердило, но ничего не мог с собой поделать и не вспоминать не мог, это же нормально — сыну вспоминать о матери. Так вот и было: вспоминал и оглядывался.

И был сон и Ее до разрыва души печальное лицо, говорящее со мной языком печали. Потом пробуждение и понимание всего ею сказанного... И ужас...

Оказывается, бедная моя мама за грехи свои потусветным судом была отправлена прямехонько в ад. Только ад этот — вовсе не котлы с кипящей смолой и не чертовы сковородки, дыбы и прочая инквизиторская дребедень. Приговорили мою маму пребывать ежемгновенно как бы за моей спиной, видеть не только все мои поступки, но и мысли, видеть мои мысли и поступки и одновременно все последствия их и страдать, и стыдиться, и корчиться в муках от бессилия и невозможности помочь, прудупредить. И ни одного мгновения в отдых. Даже сны мои обязана была просматривать. И, как я понял, все это навечно. То есть, сколько бы ни продлилась моя жизнь, завтра ли сдохну или через полста лет, судьба моя как бы закольцована для мамы, обречена она вновь и вновь рожать меня, переживать мою жизнь, хоронить, и всякий раз все сначала без права на привыкание, когда на каждом очередном стыке кольца все пережитое изымается из чувств и памяти и начинается заново от рождения до смерти.

Когда я по-настоящему понял смысл приговора, вот тогда-то и охватил мою душу ужас, тогда-то и затрепетал, заметался в отчаянии и сострадании. Воистину же изуверское наказание! За что же ей такое? Ведь не хуже других была, и жизнь прожила без особых радостей... А с другой стороны, ведь неизвестно, что случается с худшими и что может случиться со мной.

Паника охватила. И первая мысль была: да ну ее, эту жизнь! Но спохватился. Для мамы ничего не изменится. Сузится диаметр кольца — и только. Галопом пробежался по тому отрезку своей жизни, что прошла без мамы, припомнились всякие мелкие гадости, что сотворял походя, мысли мерзкие, что приходят в голову, казалось бы, сами по себе, без заявки на них, и... ах! бедная, бедная! Она бы умерла от стыда за меня, если б не умерла по болезни. Тогда впервые понял, что это значит — жалеть человека. Это такая, оказывается, маета, что нигде и ни в чем спасения нет. Что-то там, в груди, где сердце, будто мягким обручем сжимается, и боль, настоящая физическая боль — и это поразительно, ведь ну что такое сердце? Биологическая насосная станция, грубая материя. Но каким-то образом сопрягается она с чувствами, не имеющими функционального жизненного смысла. Жалость! Она скорее уж помеха нормальному жизнеобеспечению, то есть никакого реального смысла и значения нет в этом чувстве... Любовь — куда ни шло, фокусы инстинкта продолжения рода. Но жалость... или стыд, к примеру, раскаяние,— они, эти нематериализующиеся чувства тоже ощущаются физически, и опять все там же, в границах нехитрой насосной станции.

Всезнайка-лекарь скажет снисходительно, дескать, сужение, там, или расширение сосудов, отсюда и реальность ощущений. Но причина сужений или расширений — мысль! Подумал о маме — и боль. В каких же измерениях нематериальное — мысль! — стыкуется с клетками и волокнами? Такое ведь по определению невозможно. Но вот она, боль, она здесь, где сердце, сжимает его невидимый обруч, искривишься весь в гримасе, головой замотаешь и поспешишь куда-нибудь на люди, где нужно быть сдержанным и однозначным, потому что никому нет и не может быть дела до твоих проблем, как и тебе, то есть мне, тоже нет дела до чьих-то проблем... мне бы со своими справиться...

Я решаюсь быть предельно рациональным. В этих целях привожу форму в соответствие с содержанием. Рационально мыслящий человек, по моему представлению, прежде всего лишен неряшливости во всем: в одежде, в мыслях, в поступках. Это некий педант с прохладным взором, без суетливости в движениях, без навязчивости в контактах, иными словами — человек оптимального режима поведения — мой потаенный и недостижимый идеал. Однако все, поддающееся описанию, в какой-то мере достижимо, потому я привожу в порядок свою одежду, а это значит — облачаюсь в «тройку», какую теперь уже давно никто не носит, подбираю галстук, простой и строгий, домашние тапочки выпадают из образа, потому чищу до блеска и надеваю выходные туфли, правда, при этом руки оказываются в ваксе, и приходится мыться осторожно,— как если бы мину обезвреживал,— чтобы не забрызгать рукава сорочки и костюма... Но не позволяю себе иронию по поводу всех этих действий. В детстве мама часто говорила, хмурясь: «Не кривляйся, пожалуйста!» Я не кривляюсь. Я действительно готовлю себя к серьезным и ответственным размышлениям, и она СЕЙЧАС это видит и понимает.

ГЛАВА 1

«У нас с тобой еще не было более верного дела,— говорил я, глядя ему в глаза,— провернем и осядем на дно Решайся же!» Я знал, что он не откажется.

Странное оно, это понятие — Закон! Интересно, с чего оно взялось? Возможно, был какой-то КОН, черта, предел, за который переходить было нельзя.

Итак, сначала было правило, правильность, правда, потом появился закон. А когда появилось право? И если правило — это правда, то зачем нужно право? Для того, чтобы расширить объем правила, то есть нарушить старый закон и сотворить новый в чьих-то определенных интересах. А если, например, в моих? Кем я должен стать в глазах человечества, чтобы оно признало мое право на нарушение закона? А может, это условие излишне, если я с какого-то момента перестаю уважать человечество, ведь оно — всего лишь некое количество, простая арифметическая сумма, и я, как личность, как известное качество, имею полное право игнорировать его. Моя жизнь — это только моя и ничья больше, она у меня одна и другой не будет, и если эту мою единственную жизнь окру-

жающее меня человечество делает несносной, я просто обязан перейти за кон, за черту дозволенности, которую мне почему-то определили, моего мнения при том не спросив.

Некий мудрец, по прогулкам которого законопослушные граждане ближайших кварталов сверяли часы, изобрел формулу хорошего поведения: прежде чем что-либо совершить, представь себе, что так же поступили все, и сразу увидишь, хорошо твое намерение или дурно. К примеру, я собираюсь бросить окурок мимо урны и тут же представляю, как все человечество закидывает окурками место общественного пользования, представив такое, смущаюсь и отказываюсь от нехорошего действия.

Для меня совершенно очевидна шизоидность формулы, потому что, если и существует какая-то ценность личности, так она только в том и может заключаться, чтобы поступать так, как всему остальному человечеству и в голову не взбредет, а иначе — муравейник. Вот там закон торжествует во всей прелести. Муравейник — это и есть идеальное правовое общество, и не зря же всегда ловишь себя на желании взять палку, поворошить хорошенько, полюбоваться паникой и прошептать злорадостно: «Ишь, забегали!»

С Петром Лукиным я познакомился давно, еще будучи аспирантом, месяца за три до того, как меня вышибли, и мама тогда была еще жива. Он ей тоже понравился. Я же был просто влюблен в него, черта, и по сей день не разочаровался, хотя случается — грыземся, как два раздраженных пса, скалимся, косимся, вздыбливаемся холками, но потом все равно плечом к плечу за добычей...

Он не выше меня и не шире в плечах, но если я — типичная славянская морда, то он южанин, и этим все сказано. Я ему интересен, как носитель генофонда, он мне — всем тем, чем я обделен, хваткой, например, она у него не то чтобы мертвая, просто она всегда по существу, воздух не хапает, по крайней мере, и если кулак разжимает, там непременно что-нибудь есть нужное или полезное. Он щедр, терпим и вынослив. И он не циник! Его слабость — женщины, тут он частенько прокалывается, а я тогда торжествую.

Самые прочные и долговечные знакомства происходят случайно. Подрабатывал на разгрузке на сортировочной станции. На перекуре оказался вместе с бригадой составителей поездов. На него обратил внимание, потому что держался независимо и интеллигентно,— мало говорил, не похабничал, что и для интеллигента редкость, и самое главное, конечно, заметил меня, точнее, отметил меня своим пролетарским вниманием и первым пошел на разговор. Не было обычного прощупывания, заговорили сразу о чем-то простом и существенном, захотелось встретиться еще, и встретились раз, другой, а потом, когда меня вышибли из аспирантуры, закрутились наши с ним дела, и повязались так, что и захочешь — не оторвешься...

Мы ровесники, но я старше его, потому что он воспринимает наши игры с жизнью серьезно, я же участвую в них исключительно корыстно, а корысть, как известно, это непропорциональный сплав жадности и трусости, оба эти чувства я переживаю в полноте, то есть в постоянной готовности к раскаянию и покаянию, и при этом еще умудряюсь придерживать в резерве пару извилин для рефлексии по поводу всего происходящего.

Петр любит блюз — саксофонные сопли,— и утверждает, что во всей мировой музыке это единственный монолог личности, наплевавшей на каноны коллектива и напрямую говорящей с Богом. Еще он увлекается шахматами, хотя считает их национальной еврейской игрой, стимулирующей адаптационные способности, когда выживание зависит от качества интриги и уменья просчитывать ходы. Он вообще большой любитель формулировок, кратких определений и всякого рода резюме, и это не удивительно, если учесть, что у него за плечами четыре курса логики и психологии, два курса матмеха, а еще ранее — какое-то геодезическое ПТУ и тьма мелких технических профессий.

К своей нынешней профессии составителя поездов Петр относится исключительно серьезно. Несколько дней я поболтался с ним на станционных путях. Он продемонстрировал, как состав, к примеру, из сорока вагонов рассортировать по адресатам с минимальным количеством «ездок». Был он небрежно величественен, когда специальными сигналами приказывал кишке из вагонов, платформ и цистерн то выползать за стрелки, то пятиться назад, разрываться пополам и на части и воссоединяться вновь. При этом он постоянно нырял под вагоны, чего-то там сцеплял и расцеплял и выскакивал из-под вагонных сочленений одновременно с первыми рывками состава. В безропотности, что демонстрировала особым образом организованная груда передвигающегося металла, было что-то противоестественное, сюрреалистическое, особенно ночью, когда один лишь взмах фонаря — и немедленно скрежет колесный, и все куда-то поползло, поехало, потащилось, набирая скорость, обрастая грохотом и визгом, и кажется, не остановить, пока не врежется в темные контуры сооружений у поворота, но вот пара круговых взмахов фонаря — и дикий, почти жалобный вой тормозов, и натыкающиеся друг на друга сочленения металлической кишки вот-вот вздыбятся, крушась и разваливаясь... Но человечек рядом со всем этим, бахвалясь и выпендриваясь, опять чего-то изображает своим фонариком, металл отвечает ему свистком понимания и согласия и группируется для исполнения...

Если Петр хотел произвести на меня впечатление, то это ему удалось вполне. Однажды я приблудил на станцию по собственной инициативе, Петр обрадовался, увидев меня, и пообещал показать нечто, о чем не пожалею. Он заканчивал разборку очередного состава. Подцепив к тепловозу желтую цистерну, одиноко стоявшую до того в маневровом тупике, жестом подозвал меня и пригласил в кабину тепловоза, где мне охотно и дружелюбно жали руку машинист, мужичок с достоинством, и его помощник Олег, вихрастый, подвижный, лукавоглазый, в затертых до дыр джинсах, голый по пояс и с пионерским галстуком на шее. Убедившись, что я тронут его экипировкой, взял меня за пуговицу.

— Вот, как свежий человек, соображай быстро и гони резолюцию. Наше депо имени Павлика Морозова. Я у-ва-жа-ю депо, потому как видишь! — пальцем в галстук.— Сергей Иваныч, мой начальник, говорит, что если я хочу соответствовать, то должен для порядку приложить своего папаню или чьего-нибудь другого. А я говорю, что это формализм и буквоедство. Главное— «Будь готов!» И я тут же, пожалуйста: «Всегда готов!» Так сказать, по существу! Служил я на флоте. Учили нас топить вражеские подлодки. Мы же их не топили. Но готовность была, дай Бог! То есть по существу! А?

— Твоим бы языком да коровий помет соскребать в дощатом хлеву,— резонно заметил машинист, выявив редкостную по нынешним временам осведомленность в проблемах сельского хозяйства.

— Нет, ну ты согласись,— теребил меня Олег,— принципиальная готовность заложить кого угодно — это же поценнее будет, чем один раз сгоряча или с опохмелку...

— Диалектически подходишь к вопросу,— согласился я.

— Поехали, мужики,— возвестил Петр.— Время — деньги.

Тепловоз дернулся и лихо помчался прочь от станции.

— Кстати, о деньгах,— опять вцепился в меня голопупый пионер.— Сэку раскинем?

— Не советую,— быстро откликнулся Петр.

— Вай нот! — возразил я и был понят.

Между прочим, сэка — самая блефовая игра из всех, что я знаю. Всего три карты в руке, а весь характер как на ладони. Если ты трус или жмот, или плут, или простак, или воля у тебя, как у прирожденного лидера,— все выявится за пять-шесть раскладов. Опасная игра, чертовски опасная! Чистой воды мазохизм подтолкнул меня согласиться. Не раз пробовал, унижает меня эта картежная провокация, знаю ведь, а нарываюсь...

Станция, пакгаузы, мачты высокого вольта — все разом подевалось куда-то, и оказалось, что тепловозик наш мчится, заваливаясь на бок на виражах, по глубокой канаве, обсаженной елками так плотно, что никакой видимости по бокам и лишь развал серого неба над головой да серые нитки рельс, то и дело исчезающие в поворотном нырке. Сзади чуть пригрохатывала цистерна... Что-то бесовское было в самом движении или в настроении моем, а уж партнер мой карточный с наколками на руках и пионерским галстуком на шее— сплошная антисоветчина — почти что булгаковский персонаж... И какая-то лихость нездоровая...

Я продувался. И не оттого, что играл плохо, просто не мог заставить себя расслабиться, раскрыться, заиграть по характеру своему, обнаружиться боялся и проиграть не деньги,— мелочь на кону,— но нечто большее, ведь постарше я его, бойкого и ловкорукого...

Между тем тепловоз вырвался, наконец, из канавы на открытое пространство и через несколько минут с надсадным свистом влетел на обширную площадку с несколькими рельсовыми нитками, ручными стрелочными переводами, с полдюжиной вагонов на крайней боковой тупиковой ветке. Приткнулись посередине, и Петр выскочил наружу. Некоторое время мотались туда-сюда. В итоге цистерна, что была сзади, оказалась впереди тепловоза, и, толкая ее перед собой, мы вкатились, наконец, на ту колею, на которой стояли вагоны.

Тотчас же справа и слева из-под елок стали появляться люди весьма странного образа, в каких-то замызганных плащах, в грязных пиджаках, Бог знает, в какой обуви, а физиономии — одна карикатурнее другой. Помощник машиниста Олег, к тому моменту завершивший опустопение моих карманов, с удовольствием пояснил:

— Такого не видел? Перед тобой заслуженные алкаши нашей орденоносной области! Элита! Лучшие из лучших!

— Откуда они взялись? Здесь...

— Из города. Сегодня понедельник. Приползли опохмеляться.

— Чем?

— Коньячным сырцом. Пошли!

На тепловозе остался только машинист. Петр отвел меня в сторону и сказал: «Стой здесь, смотри и постигай!» Сам подошел к сцепному устройству между тепловозом и цистерной, что-то там проделал и, отступив на пару шагов, махнул рукой.

Лихо свистнув, раскрашенный тепловозик рванул с места и, как щитом, прикрываясь цистерной, лихо помчался на состав вагонов на другом конце маневрового пространства. Вдруг резко, со скрежетом затормозил, цистерна оторвалась от него и точно нацеленным снарядом понеслась на вагоны. Я не успел ни удивиться, ни испугаться. Ну, что грохот,— это само собой. Из цистерны вырвалось желтое пламя, метра на три, не меньше, вырвалось и зависло на мгновение, потом ринулось вниз и потекло желтым по желтому. Пламени не было, был коньячный сырец, и запах его не только до меня волной докатился, но и до тех, что стояли под елками, они издали дикорадостные возгласы и кинулись к цистерне, где им тут же перегородила дорогу команда тепловоза.

— Назад, ханыги! — звонким голосом возвестил мой друг Петр, и ханыги послушались, остановились и даже попятились к обочине, изъявляя полную покорность своим благодетелям. Странных полулюдей к тому времени набралось уже около двух десятков, они, как грибы-поганки, вырастали из-под елок и скапливались у обочин, некоторые тряслись и дергались, кого-то не держали ноги, и тот опускался на колени, заваливался на бок, но желтой сморщенной шеей тянулся в сторону раскупоренной цистерны с алкогольным зельем. Еще, это я заметил не сразу, почти у каждого из них через плечо висела сумка, сумки были разных фасонов, все — жуткое старье, но они были не пусты...

Машинист и помощник с полиэтиленовыми канистрами полезли на цистерну, Петр вернулся ко мне.

— Крышка цистерны закручена четырьмя длиннющими болтами, их можно перепилить, но это же работа, к тому же оставляющая следы умысла. А при ударе жидкость вышибает крышку, сам видел как. Я рассчитал необходимую силу удара, минимальную. Иногда, правда, сцепка летит, но не ошибается тот, кто и так далее...

— Но это же...

— Да ну?

— Понял,— сказал я и совсем по-новому взглянул на своего друга, на его красивое лицо не то терского, не то кубанского казака.

Алкаши, меж тем, дисциплинированно выстроились в очередь около тепловоза. Сумку теперь каждый держал в руках, лица оживлены, некоторые даже вполне симпатичны, и вообще вблизи они уже не производили того жуткого впечатления, что на расстоянии, так что расхожее — лицом к лицу лица не увидать — вполне опровергалось в данном конкретном случае, по крайней мере, большинству из них можно было сочувствовать...

Каждый из страждущих сначала вытаскивал из сумки какую-нибудь старую книгу, потом пол-литровую банку, которая наполнялась алкогольным зельем и выпивалась иногда, как говорится, не отходя от кассы. В основном были библии конца-начала века, учебники, томик Лескова запомнился в приличном состоянии, опись дворянских усадеб, уставные грамоты Московского государства, еще что-то. И лишь

однажды мы с Петром одновременно ахнули, когда в его руках оказалась книга настольного формата с золотым тиснением — «Трехсотлетие Дома Романовых»! Этого мужика, явно не знавшего цену своему подношению, после принятия им «похмелька» Петр отвел в сторону, торжественно и щедро влепил ему в ладонь четвертак, поощряюще похлопал по плечу на зависть всем остальным и сказал искренне:

— Я б тебе, сердешный, еще пару банок накапал, да ведь помрешь, вон какой ты весь скособоченный, но ты запомни, моя душа тебе открыта, если еще что-нибудь такое приволокешь, буду поить, пока в горячке не загнешься. А сейчас давай, топай в ельник, отоспаться надо, так?

До сих пор ведь помню эмоции, коими душа моя была переполнена в тот день. Как же это приятно — знать себя честным человеком, как это возвышает тебя над прочими, над самыми ближними и особенно над ближними, в дальнего не ткнешь перстом, не дотянешься, дальнему не взглянешь в глаза пристально и многозначительно, не скажешь великодушно: «Я, конечно, тебя понимаю...» Да и кто, наконец, кроме ближнего оценит твои моральные устои? Какой-то мудрец сказал: «Когда я оцениваю себя, я скромен, но когда я сравниваю себя — я горд!» Прекрасно быть честным человеком! Хоть в чем-нибудь, в ерунде какой-нибудь, чтобы хоть на одном клочке души можно было поставить пробу и пометить его знаком качества. Нельзя только ни с кем вступать в разговоры на эту тему — сплошной гололед. Запросто утратить достойность позы, потому что черно-белые тона — это область морализующих гипотез, а в реальной жизни — спектр, и тебе его тут же продемонстрируют во всем великолепии. Мой друг Петр элементарно доказал мне, что либо я уважаю общество, в котором живу, и тогда я ничтожество, потому что в уважаемом обществе я сам просто обязан находиться на уважаемом месте, если я вообще личность, либо я не уважаю общество, и тогда я непоследователен в поведении по глупости или по трусости — на выбор.

Предложенный выбор мне не понравился, я определенно дал ему это понять, и он был очень доволен.

Этот разговор происходил еще во времена Порядка. А когда с Порядком было покончено, то я полностью избавился от чувства дискомфорта, которое, несмотря на твердость мною принятых решений, все-таки затаилось где-то между душой и желудком в виде крохотного, вяло шевелящегося змееныша. Я радостно выблевал его вместе с остатками гражданского чувства и захлебнулся воздухом свободы...

Мы с Петром стали грозой Центросоюза — была такая организация в государстве, которая якобы руководила якобы кооперативным движением. С некоторых пор на адрес этой организации стали регулярно поступать контейнеры с дефицитом: дубленки, сапоги женские импортные, куртки кожаные, невиданная бытовая техника и еще уйма чего. Причем доставлялось это все добро исключительно на обкомовский пакгауз, где и исчезало бесследно, никогда не появляясь в магазинах. Это Петр установил самостоятельным расследованием. И когда установил, тогда и приостановил бесперебойность поставок, то есть это мы с ним объявили партизанскую войну Центросоюзу посредством систематических разграблений контейнеров, проявив при этом столь изощренные приемы и способы, что безнаказанность прямо-таки захмелила наши замудренные мозги. Конечно, это была игра для взрослых людей, прежде прочего желавших утвердить свою волю в доступной им области действия. Мы, таким образом, считали себя экономическими диверсантами, имеющими законное моральное право на компенсацию за риск в инициативе.

Когда Порядок рухнул, у нас появились конкуренты, люди неинтеллигентные, грубые и безыдейные, мы обзавелись «пушками» и устроили наглецам такой пиф-паф, что все «органы» вокруг встали на уши и в такой неэстетичной позе пребывают и по сей день.

Вихри враждебные разгулялись по необъятным просторам Родины, а мы с моим другом Петром выстроили бастиончик, крепостишку фундаментом к небу, крышей в землю, и все было прекрасно, пока в мой сон не пришла мама...

Было лето. А лето в нашем областном городишке превосходное, если не считать тополиного пуха, коим бывают периодически завалены не только улицы, но крыши, подъезды, квартиры, балконы, а также волосы, глаза, уши, карманы и даже ширинки, и зуд от этой заразы... И никто толком не знает, откуда это взялось, потому что раньше не бывало такой аллергической провокации со стороны прекрасных, ветвистых старинных городских тополей, которыми мы любовались и гордились. Для мальчишек забава: они сметают в углы громадные кучи пуха, утрамбовывают их и поджигают,— сущий порох эта белая пыль.

Лично я влюблен в мой городишко, как в женщину, или точнее, как я хотел бы любить женщину — нежно! Осмотришься и улыбнешься радостной и чистой улыбкой, потом эту улыбку, как маску, можно снять с лица, повесить на стенку, смотреть и верить, что ты вполне даже хороший человек, если можешь сотворять мускулами лица такую светлую и беспорочную гримасу...

Он объективно хорош, наш город, счастливо обойденный всеобщей индустриализацией. К нам приезжают вздыхатели по старине и безжалостно терзают диафрагмы своих фотоаппаратов и кинокамер. Еще бы! Целые улицы старых деревянных домов. Расшиперится перед одним из таких какой-нибудь столичный русопят и ахает, и головкой лысой покачивает, и бородой метелковой помахивает, а глазками по сторонам — туда-сюда, все ли, мол, граждане данного исключительного города осознают, как им подфартило проживать в богохранной местности. Я как раз в таком доме проживаю. Потому иногда подойду к туристу и спрашиваю: «Нравится?» Сияет и руками разводит. «Махнемся?» Тут же глазки вподзакат, дескать, рад бы, всей душой, да вот только там, в опостылой столице, дела... дела... Так бы и дал по роже!

Объективно хорош наш город. Но чего бы он стоил, не расположись он на берегах Озера, чистого, прохладного, уходящего за горизонт синей гладью и соединяющегося там, за горизонтом, с синей гладью небесной, словно ковер дивной красы из-под ног до горизонта, вверх и назад к нам, над нами и за спину до другого горизонта. На тех, дальних берегах, что от города не видны, горы и скалы, так что и по берегу не везде пройдешь — дикость первоприродная. Из-за труднодоступности не загажены эти места, где рыбы, дичи, грибов и ягод, если не тьма, то уйма, по крайней мере, нам, знающим подходы и проходы, хватает.

Это ему, Озеру, обязан город прохладой в летние дни и умеренностью морозов в морозные зимы. Пространственно они едины, город и Озеро, и я влюблен в это единство, как в женщину, как хотел бы влюбиться в женщину — с нежностью!

И в этом вопросе мы сошлись с Петром, только в отличие от меня он — настоящий романтик. Иногда я готов поверить, что он гений. Уже много лет он конструирует какую-то особую землеройную машину, которая будет ходить под землей, как червяк, причем даже сквозь твердые породы, правда, медленнее. Я видел чертежи, что-то он пытался мне объяснить, я ничего не понял, по крайней мере, ему так сказал, потому что немного испугался за себя, что тоже увлекусь, поверю. Но кое-какой опыт по части веры у меня уже был, и что бы там ни молотили философы, я убежден, что вера — все равно во что — это особый вид мозгового заболевания. Потому не поверил в его железного червяка и не поверил, что сам он гений...

И правильно сделал, потому что теперь в связи с новыми обстоятельствами в моей жизни мне придется поступиться многими увлечениями, а Петр — самое азартное мое увлечение и безусловно порочное...

Об этом и думал, когда шел к нему кривыми прибрежными улочками, и радовался, что Петр живет неблизко, что между нашими домами нет соединяющего нас транспорта, и если не спешить, у меня еще достаточно времени, чтобы внутренне подготовиться к нелегкому разговору.

ГЛАВА 2

«Так я и знал, что мы влипнем»,— сказал Петр и умер, падая затылком в черно-коричневую грязь. Я побежал...

А перед тем снова был сон. У мамы было заплаканное лицо, но его выражение в этот раз удивило и встревожило. Смотрела она на меня, но при этом будто присушивалась к чему-то, звучащему за ее спиной... Или за моей спиной... Или вообще где-то вне пространства... Ведь там, где она, пространства существовать не должно...

Иногда взгляд ее оживал, тогда чуть-чуть начинали подрагивать брови, я помню, так бывало, когда она чего-то боялась, но старалась скрыть страх.

В сопляках был я ужасным гордецом. На мать посматривал лишь искоса, от ласк отбрыкивался, до бесед не снисходил. Теперь же, во сне, мог смотреть прямо в лицо. Когда из разных миров — можно смотреть, не отрываясь, как на фотографию. К тому же я хотел что-то угадать в выражении ее лица, кажется, это было очень важно — угадать, не пустячок же, но информация с Того Света, возможно, вообще уникальный случай в истории. К сожалению, тот факт, что все это происходит во сне, тоже осознавался и сковывал, то есть там, где было мамино лицо, я вроде бы и не присутствовал вовсе, но только сознание мое без тела, без голоса и, ей-Богу, даже без глаз...

Кажется, моя мама не была красивой женщиной, но все же в ее лице было нечто такое, мимо чего не пройдешь не оглянувшись. Многие оглядывались, я помню это даже из детства, а если поднапрячь память, то... она, похоже, была жуткая кокетка... но не более того, потому что вся ее сознательная, а, возможно, и досознательная жизнь регулировалась одним всеопределяющим свойством характера — самолюбием. Или гордостью? Вот ведь как язык коварен! Уверен, она себя не любила, то есть не считала себя лучше других и не гордилась собой по той же причине, но притом была и горда и самолюбива, и никак по-другому не скажешь, если не обращаться за помощью к Фрейду или Фромму или Вейнингеру... Я принципиально не хочу иметь дело с этими сексоманьяками, распространившими на все человечество свои личные комплексы, уверен, что именно так и обстояло дело, потому что хотя бы вот я лично никакими эдиповыми пристрастиями не страдал и даже не подозревал, что таковые существуют, пока не прочитал... Помню, когда прочитал, было ощущение, будто налакался помоев... В жизни этот самый Фрейд наверняка был грязный тип с мокрыми толстыми губами и глазками туда-сюда...

Пожалуй, я даже не обожал маму, никогда ею не восхищался и вообще никогда не задавался вопросом, красива ли она, потому что само слово «красота» соотносилось в моем детстве только с природой и девочками. Маму я уважал. Еще побаивался. Крута бывала на руку в раздражении. Сочувствие к ней познал впервые во время ее болезни. В иные времена в сочувствии она не нуждалась из гордости и самолюбия... Но, возможно, ошибаюсь? Возможно, в действительности она была именно такой, какой я видел ее в моем странном сне: страдающий, но утратившей защитную маску, которую при ее жизни я не смог ни рассмотреть, ни понять. Вот ведь во сне сердце мое разрывалось от сочувствия, и мог бы заплакать, как иногда плачется... Но этот мой сон необычен. Это сно-видение, видение посредством сна, и моя задача разгадать его, иначе зачем бы все это мне было дано...

Итак, в этом втором моем сно-видении мама была встревожена. Еще мне показалось, что не я причина ее тревоги. Она будто высматривала что-то за моей спиной. Или прислушивалась к чему-то... Может быть, к моим мыслям? Поступки можно контролировать, а мысли? Попробуй! Они, как тараканы, разбегаются во все стороны, и рад бы передавить, да не успеваешь. Но похоже, что если я серьезно намерен облегчить мамино наказание, мне придется заняться проблемой контроля за мыслями. Могу предположить, что я не хуже любого условно-среднего человека, и притом я знаю, какие пакости проговариваются в моем мозгу порою просто так, без потребности в них, а как бы по привычке... Значит, первое дело — понять суть этой привычки. Не исключено, что так называемое самоусовершенствование и начинается с контроля за мыслями, потому что где дурные мысли... Но стоп! Так можно договориться до банальностей...

Дом Петра по внешнему виду ничем не отличается от прочих в общем ряду сохранившегося деревянного пригорода. И это момент его игры. Мог бы в теремок превратить — руки золотые и фантазии не занимать, но нет же, мы не хотим бросаться в глаза, ценностям пребывать внутри нас, и лишь избранным да особо доверенным откроемся богатством своим! Я, между прочим, далеко не с первого раза удостоился приглашения, но придерживался на подходе, и лишь когда дела наши с Петром завязались в искусный узелок, тогда лишь распахнулись для меня весьма обшарпанные двери его дома. Внутри дом — воистину терем, «а-ля рюсс», выполненный с завидным вкусом и с некоторой иронией к собственному стилевому пристрастию. Технические новинки цивилизации, коими дом насыщен весьма, удивительным образом вписываются в интерьер деревянной резьбы, вышивок, тряпичных ковриков, старинных комодов, сундуков, самоваров, притом во всех трех комнатах просторно и светло, тепло и мягко, то есть уютно... Впрочем, предполагаю, что уют — дело рук матери и сестры Юльки, которая, кстати, влюбилась в меня с первой

попойки, потому что пьяный я на целый порядок лучше себя трезвого. Я знаю это и горжусь. Пьяный я щедр, добр и любвеобилен. Не в пошлом, разумеется, смысле слова, когда возникает этакая падкость на все шевелящееся, но в христианском, когда буквально переполняешься любовью к ближним, потому что, во-первых, обнаруживаешь в них массу ранее не замеченных достоинств, а во-вторых, как-то по-особому понимаешь вторичность их недостатков...

Законной гордостью Петра является подземная комната. Сруб три на четыре из обожженных и просмоленных бревен он обмотал парниковой пленкой и опустил в огромную яму, которую выкопал вплотную к дому. Зашпаклевал, заштукатурил, покрасил, соединил с домом лестницей, замаскировав ее панелью со старинными, неработающими настенными часами. Снаружи — обычный погреб. Даже соседи, на глазах которых вроде бы все это исполнялось, не успели сообразить, куда подевался сруб, торчавший чуть ли не полгода из-за высокого дощатого забора. Уличный вход в «погреб» чужому взгляду тоже ничего не открывал, кроме крохотного закутка, пригодного лишь для размещения курятника.

Обстановка подземной комнаты поражала воображение. Двенадцать метров полезной площади Петр превратил в райский уголок, где дышалось, пилось и спалось с фантастической легкостью и комфортом.

Будучи от природы нетворческим человеком, способным исключительно на подражание, я возжаждал учинить нечто подобное и со своим жилищем, но — увы! — на полутораметровой глубине у меня проступила вода. А дом Петра, хоть он тоже на приозерной улице, но на холме. Этого пустяка я не учел и лишний раз приговорил себя к вечной посредственности.

Дверь мне открыла Юлька. Прищурилась, как всегда щурится на меня,— такой у ней способ скрывать влюбленность,— кто это, мол, к нам пришел такой, что в упор не узнаю. Потом равнодушно-протяжное: «А-а, это ты...» — «А это я»,— сказал я и — напрямую к настенным часам, за которыми потайной спуск в потайную комнату.

Вся команда была в сборе и в приподнятом духосостоянии. Мое появление было воспринято как некий восклицательный знак в конце торжественно-праздничной фразы, и мне стало стыдно того намерения, с которым я нынче появился в этом доме.

«Зав. транспортным отделом» — настоящий «русский Вася», светлоликий, открытоглазый, как и положено, в меру курносый и в меру губастый, именно за эти внешние качества особо ценимый Петром, по имени, представьте себе, Вася — никак не походил на бандита-налетчика, каковым, в сущности был, как и вся наша достойная компания. Он возмечтал «купить в аренду» один узкий, но достаточно длинный залив нашего прекрасного озера, разводить там толстолобика и еще какую-то водоплавающую тварь, разумеется, перегородив залив особой дорогостоящей и нервущейся сетью... Об этом японском изобретении он говорил, как Дон Жуан о Доне Анне в исполнении Высоцкого— с хрипом и восторгом... Сеть стоила много дороже аренды. Вася копил капитал, предоставляя для наших «мероприятий» грузовой транспорт в виде «ЗИЛа», на котором зарабатывал на пропитание, и легковой транспорт в виде лично собранного «ГАЗ-69» с усиленным мотором, усиленной проходимостью, то есть вообще усиленного настолько, что можно было по бурелому уйти от любого преследования.

Вася был, безусловно, ценный кадр, но не ценнее другого, типичного «Митрича», прилизанного, остроносого мужичка с бегающими трусоватыми глазками, с вечно шебуршащимися руками и на редкость подвижными шейными сочленениями, способными, я уверен, при необходимости развернуть шарообразную голову нашего ценнейшего кадра на сто восемьдесят градусов. Фамилия его была — Каблуков. Возраст — под сорок. Все обращались к нему только по фамилии, и, похоже, ему это нравилось. Он был нашим «начальником разведки». Это от него, диспетчера на «сортировочной», мы узнавали о поставках контейнеров с предположительно ценным товаром, его информация еще ни разу не дала сбой, потому его процент от прибыли был равен проценту самого Петра. На какое озеро копил деньги Каблуков, нам было неизвестно, да и без интереса...

Еще была в нашей команде одна бойкая бабенка, обеспечивающая сбыт. Ее Петр содержал в такой глухой конспирации, что даже я не знал ее позывных и в глаза не видел.

Пара «молотков на подхвате» — те ни на какие «сборы» не допускались, получали от Петра мизер для поддержки штанов, но притом преданы были Петру до тупости, именовали его «шефом», что, как я мог заметить, ему льстило, и ради «шефа» всех нас прочих могли уложить на рельсы хребтами поперек...

Юлька спустилась вслед за мной, демонстративно обошла бедрами, стала собирать со стола тарелки со следами чего-то изысканно вкусного, чего я автоматически лишался по причине опоздания и теперь мог рассчитывать только на коньяк и чай с чем-нибудь сладким. По-европейски низенький столик мог собрать вдоль своих эллипсоидных граней не более пяти человек, а если без напряги, то четверо — самый раз. Присаживаясь, я как бы завершил композицию не только по форме, но и по содержанию, что немедленно сказалось на позе Петра, развалившегося в кресле цветной обшивки, в то время, как все прочие задницы довольствовались круглыми, весьма жестковатыми стульчиками-табуретами, по конструкции не позволявшими, к примеру, забросить ноги на стол или хотя бы расслабиться настолько, чтобы подчеркнуть свою персональную значимость, но обязывающими сидеть прямо, высвечивая тем самым действительную роль хозяина дома...

В другом углу бункера стоял такой же столик с тремя такими же креслами, что под Петром, но в тот угол, обставленный всяческой заморской техникой, гости приглашались лишь после официальной, деловой части, и попытки продолжить проблемные разговоры в условиях расслабленности пресекались Петром категорически...

По выражению физиономий я понял, что «проблемные разговоры» в самом разгаре. Суть проблемы, уже известной мне, была такова: ожидалось поступление контейнеров с румынскими дубленками для областной номенклатуры. Контейнеры должны были прибыть не на платформе, как обычно, а в пломбированных вагонах, или в одном вагоне — эта часть информации подтверждения пока не получила и потому оставляла в планах Петра некоторый опасный люфт. От сортировочной станции продукцию предстояло отбуксировать в тупик, что под самыми окнами диспетчерской, а затем после соответствующего переоформления оттащить в подземный обкомовский пакгауз в сопровождении приемщика — мужика, нам в общем-то хорошо

известного, но неподкупного, поскольку он давным-давно уже был куплен соответствующими официальными органами, а всем известно, что нет более опасного субъекта в таких делах, чем некто суперчестный, кому за честность заплачено...

Мы с Петром обсуждали приватно эту тему еще тогда, когда в мои сны не приходила мама. Вопрос моего участия не обсуждался, оно подразумевалось само собой, и теперь мне предстояло нанести своему другу форменный удар в спину, поскольку роль каждого из нас в операции была незаменима. В своем решении начать новую жизнь я был непоколебим, у меня просто не было выбора, и если в течение последующего разговора я поддакивал Петру, то исключительно потому, что не видел возможности вклиниться в деловое обсуждение своей, чужими глазами глядя, смехотворной проблемы без того, чтобы не быть неправильно, а то и оскорбительно понятым. Увлеченный тактическими и стратегическими выкладками, Петр не замечал моего состояния, немногословность мою принимая за готовность и согласие. Еще как-то пакостно подействовал коньяк,— потащило, потащило... Мысли скисали, едва вызрев, лень опутала душу, и я поплыл, словно в поддавки играя сам с собой. Юлька подвернулась под руку, мысленно я отсек руку, соблазняющую меня, и почувствовал сильную боль, правда, в затылке, потому что в действительности рука моя проделала нечто неприличное с Юлькиным задом, и она треснула меня чем-то подручным по голове... Впрочем, это было уже за другим столиком, то есть после того, как завершилась деловая часть встречи, были приняты нужные решения, и я принятию этих решений никоим образом не воспротивился, то есть струсил, поленился и безусловно усугубил ситуацию, так как теперь не рано, а именно поздно должен был поставить Петра в известность о своей новой жизни...

Юлька — влюбленная душа, почувствовала мое состояние, и когда я не очень уверенно поднялся за ней по лестнице в кухню, спросила, глядя в упор своими хорошими, несовершеннолетними глазами:

— Ты сегодня чего это такой?

— Тебе когда восемнадцать?

— Через два... полтора...

— Долго...

— И давно ты такой правильный? У нас, между прочим, на весь класс четыре девственницы.

— И ты в том числе?

Как-то уж слишком многозначительно посмотрев на меня, поправила на моей рубашке воротничок, тряхнула челкой, отвернулась.

— Все эти ваши дела с Петькой плохо кончатся. Да? Каблуков — упырь, Вася — мешком стукнутый... Сплошной дурдом... Петька вчера пистолет смазывал... Допрыгаетесь... Со мной тогда что?

— Богатой невестой останешься,— вот уж воистину сморозил я.

— Не надо,— прошептала она.— Ты ведь в общем-то хороший человек...

Однажды уловив брошенный на меня взгляд Юльки, Петр сказал коротко и определенно: «Сестренка — табу!» Он так это хорошо сказал, что я начисто перестал воспринимать ее как существо женского пола. Сейчас «пол» врезал по моим проконьяченным мозгам, и, не будь я озадачен первостепенной проблемой выяснения отношений с Петром, поддался бы и дров наломал поленницу, и бедную мою маму не вспомнил бы, вот ведь напасть какая — «пол» — скотство и постыдство...

Ангелы небесные, не содрогающиеся нутром от зова животного инстинкта продолжения рода, как же легко парится вам в космических эфирах, как светло думается, как вольно дышится, как страстно любится вами Отец ваш Пресветлый! Разве совместима подлинная любовь с инстинктом, разве возможна она для двуногого лукавого существа, именуемого человеком?

С другой стороны, насколько мне известно, не сохранилось в истории восторженных отзывов о духовных качествах кастратов и скопцов, так что воздержимся от зависти к ангелам и попробуем если не обуздать инстинкт, то хотя бы взять его под контроль, или я не венец творения!

Спускаясь за Юлькой назад в комнату-бункер, я чувствовал себя подлинно нравственным человеком, которому не чуждо ничто человеческое и вместе с тем открыто и доступно наслаждение искусством остепенения того самого человеческого, чем не грешны и замечательны Ангелы небесные, пускай себе витающие в иных измерениях, то есть подальше от нас. Ритмы мамонтовой эпохи грохотнули по стенам и потолку и чуть не сшибли меня, неустойчивого, с последней ступеньки, не наткнись я головой на Юлькину спину, не обхвати ее... Дурочка неправильно поняла меня, одеревенела, застыла, не оборачиваясь, такая теплая, такая ручная, только я уже не тот, что был минутой раньше, не просто гомо, но еще и сапиенс, я просопел ей в ухо: «Пардон!» — и оттолкнул от себя. Где-то в пространствах черных дыр мама благодарно улыбнулась мне.

Ритмы вдруг прервались, как заткнулись, это Петр, увидев меня, приветствовал ловкими махинациями с кассетами, и через мгновение комната заговорила лунным языком, когда-то подслушанным и записанным великим косматым немцем. Ну как после всего этого мне с Петром объясниться! Ведь не просто друг, но истинное двуголосие, симфония душ, по фантастической случайности оказавшихся однажды в одно время, в одном-единственном месте, на одном квадратном метре между квазиквадратов пустынь, где хоть глотку надорви воплем отчаяния, кроме эха ни хрена... Тогда я обязан ответить на два вопроса: что есть с точки зрения абсолютной, именно так — абсолютной морали мое намерение отказаться от участия в намеченной НАМИ акции? Это первый вопрос. И первый ответ: предательство друга. Предательство, потому что мои аргументы, выскажи я их, Петром не могут быть ни поняты, ни приняты. Предательство друга — преступление против морали, к тому же абсолютной, то есть пребывающей во все времена неизменной и не зависящей ни от каких социальных раскладов. Вопрос второй: что есть та самая НАША акция, от которой я намереваюсь слинять? Уголовное преступление, пусть последнее, но не первое — против закона, однажды кем-то установленного, в верности которому мы с Петром не клялись и не присягали, но лишь принимали до поры до времени, пока закон не вступил в противоречие с нашими интересами и желаниями.

И, наконец, я, человек, пребывающий в самой глубинной глубинке государства-монстра, разве я ощущаю какую-либо органическую связь между собой и этим монстром настолько, чтобы иметь по отношению к нему какие-то моральные обязательства, учитывая притом полное отсутствие тщеславия, способного подтолкнуть меня на общественную активность? И тем более теперь, когда все, вчера еще претендовавшее на вечность, рушится на глазах, корчится в агонии в сопровождении зловония и диссонансов?

Юлька, душа чистая и непорочная, влюбленная в меня, преступающего закон, сохранит ли влюбленность, когда предам своего друга и ее брата?

Ну, а мама, моя бедная мама, приговоренная к мукам созерцания моей нечистоты, она должна понимать, что я перед выбором, которого не избежать, что муки выбора — это уже что-то в мою пользу... Попросить бы ее потерпеть, пока не вырвусь из ловушки, пока не порву путы обязательств... Новая моя жизнь не за горами, и вся она будет освещена и посвящена ей, несправедливо приговоренной, в том цель моей жизни, до того бесцельной и бессмысленной!..

Все эти соображения прокрутились в мозгу в течение первой части «Лунной». Вторую, бравурную часть я слушать не стал, дал сигнал Петру, щелчком он вырубил музыкальный фон и предложил «по маленькой» за успех, за жизнь по вольным правилам, за то, «чтоб они сдохли»,— этот крамольный тост пришел к нам из столиц много лет назад и теперь уже не был актуален, потому что «они» не только сдохли, но и провоняли на всю страну, и что-то большее имел в виду мой друг, повторяя банальность столичных протестантов в аудитории, едва ли способной оценить его глубокомысленность.

Оживился «Митрич» Каблуков, в течение симфонической паузы изображавший интеллигента смыканием век и поджатием губ, облегченно вздохнул Вася, будущий владелец рыбразводзавода, да и Юлька, как курочка, встрепенулась перышками и волоокими зрачками на меня, дескать, будем проще, и быстрей поймем друг друга. Впрочем, Петр не настаивал на серьезности тоста, он настаивал лишь на его исполнении... Он по-прежнему не догадывался о моем состоянии и тем слегка разочаровывал меня. Спроси он для формы хотя бы: «Все о' кей?» — я сумел бы переключить его на свои проблемы, и тогда, возможно, состоялся бы серьезный разговор с должными последствиями для всех присутствующих и для меня в первую очередь. Но увы! Друг мой пребывал в непробиваемой эйфории. Хуже того! Вот уже который раз он бросал будто случайный взор на телефон, спаренно выведенный в бункер, затем так же, будто машинально — на меня, этак вскользь, и это означало, что подступает к нему известная «кудрявая фефела», что она уже «ржет навеселе», что по автоматизму привычек должен я звонить кое-куда и кое-кому, всегда готовому откликнуться на зов «фефелы», и подготовить мой дом полухолостяка, полуразведенца для радостей постыдных... Всегда в общем-то тактичный Петр называл мой дом «трахтенхаузом», чем, не подозревая даже, обижал меня, но отчасти был прав, потому что с отъездом отца и его сестры, хлопотливой и шумливой тетки, а тому уже шестой год, запустил я домовое хозяйство до безобразия... А впрочем, вру, это я сегодня впервые обиделся, сейчас, вспомнив, как Петр обзывает дом, где когда-то была хозяйкой мама. Не за себя, за нее обиделся. Обиделся и порадовался, что именем и памятью мамы прозреваю и переосмысливаю окружающий мир, вещи, слова и поступки, что постепенно, но неотвратимо происходит мое преображение, накопление некоего качества, за которым последует взрыв, после чего начнется жизнь глазами к небу, то есть туда, где мама...

Подмигнув Петру и делая вид, что не замечаю подозрительного сверкания Юлькиных зрачков, я подался наверх. «Обеспечение фефелы» требовало обстоятельного изучения записной книжки и весьма деликатных и продолжительных телефонных переговоров.

ГЛАВА 3

«Сволочь ты,— говорила Надежда, блуждая своими длинными, гибкими пальцами в моих космах,— сволочь и гад! Знаешь, что я не шлюха, и что без мужика не могу, тоже знаешь и пользуешься, паразит... Ну когда-нибудь тебе отольются мои слезки... Ох, отольются!»

Телефон Надежды набрался случайно. Несколько менее случайно она оказалась дома. На этом случайности кончились, и пошли сплошные закономерности.

Мы с Петром не какие-нибудь ханыги и забулдыги, мы с ним интеллектуалы областного масштаба, потому подруги наши — это я так интеллигентно выражаюсь— не какие-нибудь официантки или продавщицы, но тоже, разумеется, подвижницы культурного фронта, других не держим, да оно и неудивительно, поскольку одинокая женщина не имеет социальной приписки, одинокая женщина есть везде, одинокая женщина — это жертвенная свеча в сумерках житейского мельтешения, это родник, не всегда прохладный и не всегда прозрачный, но всегда желанный для мужчины, не озабоченного семейным творчеством или уставшего от такового или потерпевшего крах на этой многотрудной и неблагодарной ниве бытия. К тому же, и это я утверждаю без цинизма, одинокие женщины в большинстве своем прекрасны каким-то внутренним светом мудрости, они начисто лишены чванства замужних и устроенных женщин, в их глазах и только в них прочитывается порою та самая эсхатологическая тоска, что, в общем-то, щедро разлита по миру, но исключительно небесного происхождения, и сколь бы ни были корыстны мои рассуждения на эту тему, именно в ней, в этой теме, я сам себе кажусь наиболее искренним и последовательным, потому что не могу жениться на всех одиноких и, следовательно, не должен, то есть не обязан жениться вовсе...

Петр более поэтичен в отношении с женщинами, но, как ни странно, и более корыстен, и это сочетание поэзии и корысти для меня загадочно, потому в нашем дуэте всякий раз, когда он играет «на повышение», я забавляюсь сбрасыванием его с пьедестала, что иногда весьма коробит его, но вполне устраивает, ибо своей «заземленностью» я рельефнее высвечиваю возвышенные тенденции тоже достаточно хитроумно устроенной души моего друга.

Откровенную зависть прочитал я в его глазах в тот момент, когда знакомил с Надеждой, когда представлял ее, перспективную актрису областного драмтеатра, в ее собственной, современно благоустроенной квартире с роялем в углу зашторенной залы, с не моей, но любящей меня дочерью ее, черноглазой попрыгуньей Люськой, и, как положено в приличных домах, с кудлато-патлатой собачкой, которую сам я, откровенно говоря, терпел лишь по причине интеллигентности моей натуры. Собака, запрыгивающая на белоснежную, хрустящую, благовонную, на священную постель,— это зрелище и по сей день вызывает у меня сладостное видение — стриженая шавка с визгом вылетает через форточку... Петр же пришел от всего представленного в такое умиление и благостное расположение духа, что, начав с рыцарского целования руки, закончил телефонным звонком в единственный более-менее респектабельный в городе ресторан и сделал заказ с доставкой на дом на такую сумму, что моя скуднооплачиваемая актрисочка побледнела носиком и щечками и защебетала жалобно и восторженно

о чем-то, не имеющем отношения к факту... Я хотя и был встревожен произведенным на нее впечатлением, но одновременно чисто мазохистски настроил контрольные приборы ревности на деловую волну проверки, и объект исследования в итоге ничуть не разочаровал меня.

Но все это случилось и было давно, еще в начале нашей стыковки с Петром, когда я, как паразит по призванию, сутками не снимал с себя пестрого, долгополого халата, заласканный, занеженный, закормленный, обнаглевший в благополучии, но соскучившийся по Петру, вызывал его телефоном на десерт и разнообразил свое паразитическое существование беседами о возвышенном и демонстрировал ему свое жалкое умение извлекать из благородного инструмента неблагородные созвучия. Уже потом, много потом была злополучная премьера, в которой Надежда заимела, наконец, главную роль — роль городской шлюхи, встретившей на своем шлючьем пути человека коммунистической нравственности и под его преобразующим влиянием, и особенно вследствие его исключительно коммунистического утопления при спасании на водах, конечно же, ребенка, сама превратилась в девственницу, честно желанную для всякого советского человека. Большей туфты и дешевки мне зреть не случалось. Так и сказал... Понимал, что нельзя, но сказал. Догадывался, чем рискую, но, возможно, это был чисто мужской риск, когда некто от избытка благополучия карабкается на Эверест или ныряет в беспросветные пещеры, или ищет приключения на темных улицах, провоцируя тем самым судьбу, столь податливую на провокации.

Не зная подоплеки, Петр учуял ситуацию и дерзким ястребком пошел наперехват, но получил такой впечатляющий щелчок по носу, что долго не высовывал его из недавно отстроенного бункера. Юлька, стерва лукавая, только-только вступившая в комсомол, обрывала мне телефон с требованием явиться немедля и спасти ее любимого братца от хандры и алкоголя, а когда явился, необоснованно долго висела у меня на шее, выдавливая из глаз слезинки и размазывая их по моему мохеровому кашне.

Агония наших отношений с Надеждой длилась еще полгода. За это время она успела получить новую главную роль, на этот раз — многомудрой, но еще юной учительницы-новатора, отважно сражающейся с консерватором-директором и бандой зловредных и замшелых пауков из гороно. Познавать школьную действительность Надежда отправилась в образцово-показательную школу города, откуда и была выловлена и загружена вниманием к Петру Светланочка — учитель словесности, славная, милая тридцатилетняя одинокая женщина, надолго затмившая всех прежних женщин Петра воистину кошачьей (в хорошем смысле слова) ласковостью и редкой для ее коллег информированностью в предмете преподавания. На осенней волне моего романа с Надеждой мы успели вписать в наши биографии несколько замечательных вечеринок, где были стихи, музыка, танцы и любовь, любовь...

Потом и у Петра отчего-то все рассосалось, расползлось, растерялось, были встречи без продолжений, звонки без встреч, совсем как у меня. Появлялись и исчезали женщины — но наступил пик наших поездных авантюр, от которых мы хмелели больше, чем от женщин. И лишь когда лично меня брала за горло «фефела» и не было времени для вольного поиска, я обращался за помощью к Надежде, и она мне оказывала ее, возможно, потому что сама нуждалась... Както это неприлично смотрится в словах, но в жизни... нормально...

И вот сегодня случайно набрался номер телефона Надежды, клянусь — случайно! — и нечто ностальгическое постучалось в мою не первой свежести душу. Тогда возжаждала душа чистого чувства или хотя бы не очень грязного, такого, когда бы присутствовала в его объеме память о подлинном и настоящем, достойном ностальгической слезы, ведь что бы ни произошло сегодня, а потом еще и завтра ночью, о чем еще думать и думать утром с похмелья (с Петром уже не поговорить!),— все это, как лебединая песнь — для меня, а для мамы моей, обреченной на просмотр прощального паскудства, мука и страдание, закольцованные в вечности, с единственным утешением, что скоро, совсем скоро волею моей разорвана будет цепь свинства, и в кольце страданий появится сегмент радости и отдохновения, и чем больше будет отпущено мне жизни, тем длиннее будет сегмент, а в случае долголетия, проживи я, положим, лет девяносто, то две трети кольца радости против одной трети страдания — это же почти рай, во всяком случае, уже не ад, и в моей воле изменить небесный приговор, что фактически равнозначно соучастию в Творении...

Дух захватило и пусть бы не отпускало, но набрался номер Надежды и голос ее после третьего гудка, такой вдруг родной, ласковый — особый! Все сошлось удивительно. Перезвонив через пять минут, Надежда сообщила, что и Светланочка в наличии и тоже готова встретиться, потому что пребывает в тоске и унынии, то есть четыре разных человека в одно и то же время оказались в одинаковом состоянии духа, одинаковостью потянулись друг к другу, откликнулись и устремились... В устремленном состоянии расставание с «соратниками по борьбе» прошло несколько скомканно, особенно Вася недоумевал, чего это вдруг, когда все было так славно по-мужски, и на тебе, разбегаемся, в сущности, даже не добрав до нормы, торопливо ладошку в ладошку и топай пыльной улицей в опостылые берлоги! Вася был сконфужен и обижен. «Митрич» держал марку делового, но тоже прятал глаза, отдавливая пальцы в демонстративно крепком рукопожатии. Нам же с Петром — катись они оба! Юлька, вздернув подбородок и прищурившись, вылила мне на голову цистерну презрения, а на попытку по-братски облапать ее прошипела в шею:

— Заработаешь спид, не смей дышать в мою сторону!

— Прибежали в избу дети,— назидательно ответил я и изловчившись все-таки чмокнул куда-то.

— «Мне холодно, знаешь, мне холодно, слышишь!»—декламировала Светланочка, вперив волоокий взор в Петра, расслабленного, размякшего, похорошевшего под поощрительное хлопанье ресничек учительницы словесности. Божественно выглядели наши любимые! Надежда имитировала слушательницу Бестужевских курсов, самое начало века,— платье «макси» в талию до умопомрачения, шея, украденная у Нефертити, подчеркнута лишь на одну пуговочку расстёгнутым воротничком в кружевах, и руки ее прекрасные тоже в кружевных манжетиках, и прическа— «княжна Мэри» — словно только для ее головки и придумана... Светланочка же, напротив,— волнующее декольте — черного, но синевой мерцающего платья неизвестной мне материи, и что-то вольное,

но вдохновенное с ее волосами, как принято говорить, пшеничного отлива, а на скульптурных ножках золушкины туфельки, только черные, но тоже сверкающие... Не иначе, как у Надежды завязался блат с костюмершей театра. А рядом мы с Петром в протертых джинсах, в рубашках не первой свежести развалились в креслах, задрав заношенные тапочки с протертыми гуттаперчевыми подошвами. Им бы оскорбиться, милым, да послать нас подальше, хамов и нерях, но нет же, любят они нас таких вот, и за что, спрашивается, и что оно такое — их любовь, возможно, и не любовь вовсе, а одна лишь тоска бабья, и тогда это должно быть оскорбительно для нас, и тоже — ничего подобного, не утруждаем себя соображениями на этот счет, наслаждаемся, все принимая, как должное...

— «...Но я закричу в эту серую слякоть, чтоб крик поднимался все дальше, все выше: «Люблю тебя, знаешь! Люблю тебя, слышишь!»» — на выдохе умолкает Светланочка, потупив глазки, порозовев щечками. И как это ей удается так трогательно умолкать — Петр заерзал даже?! Тренируется поди, чертовка! Надежда натаскивает?

Блондинка и брюнетка. Ольга и Татьяна! Мне нравится это сравнение. Оно мне льстит. Но с Петром я не делюсь, на подолострадальца Ленского он уж никак не похож. И если я не тяну на Онегина, то Надежда — в своей наследственно-господской квартире — само собой, но даже здесь, у меня на «трахтенхауз»,— она, ей-Богу, в чем-то лучше Татьяны, может, как раз тем, что вот она у меня здесь без зауми и предрассудков, понятна и доступна, и мне не нужно перед ней «входить в образ», а наоборот, могу распуститься и даже сыграть на понижение, а в итоге все равно получу ее...

Оглянулся на Петра. Так и есть, он тоже уже не против получить... Но красавицы наши, они не торопятся, они умницы, они знают наше скотство мужское, когда так обхамишься, что не считаешь нужным даже подыграть им, более прочего нуждающимся в игре, именуемой общением любящих сердец. Им нужно время, чтобы суметь забыть, кто мы такие в действительности, то есть самцы-гедонисты, не озабоченные проблемой продолжения человеческого рода, в сути — уроды, рабы своего уродства, трусы и лентяи, играющие в так называемые мужские игры, им, красавицам и умницам, ненужные совершенно. Ведь подозреваю же, что где-то на самом глубинном уровне сознания или, наоборот, на самом высшем этаже его должны они презирать нас небывалым презрением, способным испепелить нас, дай они ему волю, но не испепеляют, а потакают нашему гордому эгоизму и хамству. Значит, так тому и быть!

В соответствии с избранным стилем Светланочка падает на колени Петру. В том же полном соответствии Надежда грациознейшим образом опускается на пол перед моим замызганным креслом и нежнейше прислоняется головкой к моей руке на ободранном подлокотнике. Слава Богу, пол у меня чистый. Другой рукой я бережно глажу ее волосы, в движения руки вкладываю всю нежность, на какую способен, и не без огорчения замечаю, что Петр в выигрыше, поскольку по условиям предложенной игры может позволить себе большую вольность в выражении чувств. Они попросту целуются. Я же вынужден изображать из себя Онегина, снизошедшего до проблем Татьяны. Чтобы уравнять шансы, бережно отстраняюсь, на столике, что напротив нас, обеспечиваю полноту бокалов, раздаю оные персонально. Тост не произносится, потому что — пошлость. Теперь наши дамы-красавицы на полу промеж кресел, обнявшись, поют «Не пробуждай...». Светланочка, как положено, неумелым, но приятным и достаточно сильным первым, Надежда — вторым голосом. В этом давнем дуэте, отработанном еще во времена параллельных наших романов, Надежда в роли старшей сестры, поощряющей младшую. Своим красивым, поставленным голосом она как бы выправляет мелодию, обеспечивает ей ровное звучание и глубину, выказывая то редкостное чувство меры, что от природы присуще русскому голосу, когда голоса, сколько бы их ни было количеством, сливаются в нечто единое, объемное и пространственное... Впрочем, эту мысль я додумал тоже еще в те времена...

Дамы захотели потанцевать. Что поделаешь, вечер вырисовывался по полной программе. Поковырявшись в полураздавленном тройнике, я сумел-таки подключить корейский кассетник, и музыка нашлась подходящая, хотя не оказалось свеч, и пришлось довольствоваться ночником. Мы самозабвенно танцевали, если можно назвать танцем топтание и раскачивание.

— Ты сегодня подозрительно хорош,— шептала Надежда на ухо.— Тому есть причины?

— Есть,— отвечал я серьезно.— Очень важные причины, но ты не будешь спрашивать о них.

— Не буду. Я ведь тоже, согласись, сегодня в форме.

Я поцеловал ее в ушко и подумал, что потом, возможно, ближе к утру у меня может появиться желание кое-что рассказать ей, ведь не подозревает даже, на каком рубеже стою, за какой порог ногу занес. Но поймет ли?

Светланочка радостно взвизгивала от Петровых ласк, он тоже что-то там постоянно ворковал, и оба они, игриво возбужденные, даже несколько быстрым передвижением по комнате словно оттеняли глубокий минор наших с Надеждой чувств, их партия была неким легкомысленным фоном, на котором мы с Надеждой как бы отрабатывали сцену встречи и возвращения друг к другу, и система Станиславского торжествовала в нашей талантливой и искренней игре. В эти минуты я знал, что подруга моя — хороший человек и великолепная женщина, что едва ли мне еще когда-нибудь повезет сочетанием этих важнейших качеств, что по высшей справедливости она мне — подарок ни за что, а я ей — вовсе не подарок... И много еще красивых и правильных мыслей выстроилось в очередь, но одна, пришедшая последней, вдруг растолкала всех прочих и нарисовалась в моем мозгу с поразительной отчетливостью: я хочу эту женщину и в то же время никогда не хотел на ней жениться, и чем больше я ее хочу, тем абсурднее сама мысль о женитьбе. Через минуту-другую мы исчезнем с ней в летней комнате, где уже все готово для любовного торжества, но и в мгновение высшего земного счастья, что отпущено природой мужику,— даже в балдеже, когда — Бог мой! — чего только не наговоришь и не наобещаешь,— и тогда не пожелаю я продлить наше общение далее утра или полудня и, расставаясь, еще неизвестно, за что буду больше благодарен — за то, что пришла, или за то, что уходит.

Раньше плевал бы я на все подобные несуразицы в собственных ощущениях, раньше была реальность, которая всегда права. Теперь же, когда мысли мои и поступки, как перед кинокамерой — пред взором

мамы моей, обреченной на мной сотворяемые для нее страдания,— явная извращенность, нечистота и пакостность поведения...

— Поднимем бокалы, содвинем их разом! Да здравствуют девы! Да скроется разум! — возвестил Петр, подтаскивая всех нас к столику.

— Налей! Выпьем, ей-Богу, еще! — басом согласился я.

— Какой обед там подавали! Каким вином нас угощали! — слегка фальшивя, пропела Светланочка.

— Хочу произнести речь! — неожиданно громко заявила Надежда, и все притихли.— Я утверждаю, что мы с вами — хорошие люди. Хо-ро-ши-е! Потому мы должны хорошо жить, мы обязаны хорошо жить! Достоевский считал, что нужно хорошо жить, потому что есть Бог. И неправильно! Если Бога нет, то тем более нужно жить хорошо, если после жизни — ничего... Какой ужас!

Она схватила мою руку, обхватила ее, прижалась... Глаза — космические блюдца!

— Страшно! Где-то жизнь, и ее так мало. А где-то— «ничего»... Я не хочу об этом знать, но откуда-то знаю и вынуждена жить с этим знанием, как с приговором. Мальчики, Светка, ну чем бы таким заняться, чтоб не знать и не думать, чтобы жить, а не двигаться в никуда...

— Ну, чего это ты вдруг? — не без досады прошептал я ей.

— Для себя лично,— нерешительно откликнулась Светланочка,— я придумала, это ерунда, конечно, то есть невозможно, конечно...

— Поделись, милая, ведь проблема одна на всех!

Петр влепил ей в щечку звончайший поцелуй.

— Я бы,— потупясь, продолжала она,— ушла бы в монастырь... Только в мужской...

Петр аж присел от хохота. Надежда гневно зыркнула глазами, прикусила губу — знакомый признак обиды. Но Светланочка бросилась к ней, обняла.

— Нет, нет, я серьезно. Ведь в монастыре не умирают с голоду, а едят, хотя и умеренно. Потому что так природой устроено. А мужчина... Это же тоже для нас от природы так... Я бы встречалась, ну... раз... во сколько-нибудь дней, как бы от голода, ведь если от природы... главное, чтобы не злоупотреблять, как обжорством... А все остальное время молилась бы, а есть вообще могу мало... А молитва, это я точно знаю, она что-то такое дает, когда становится нестрашно, а совсем наоборот. Я пробовала, честное слово!

Мы с Петром упали на пол и, дрыгая ногами, заходились хохотом. Надежда в кресле сотрясалась так, что начала крушиться ее великолепная прическа. Над нами стояла Светланочка, преподаватель великой русской литературы и великого, могучего, того самого, что в дни тягостных раздумий... и показывала нам язык, точнее, язычок, затем топнула ножкой и, нагнувшись над нами, дурнями, закричала:

— Я имею право предположить, что в монастырских уставах допущена ошибка? Имею право или нет? А может, из-за этого все и происходит не как надо! Религиозный кризис, и революция, и перестройка эта дурацкая!..

— Я за! Стопроцентно за! — орал Петр.— Но поскольку в чужой монастырь со своим уставом ни-ни!— создаем свой! Берусь подыскать место и обеспечить первоначальный капитал. Ой, девочки, на севере нашего озера процветает такая глушь, самолетом не долететь, сесть некуда...

Смешливость из меня, как метлой.

— Это точно, что есть такое место? Ну да! Конечно! А почему мне ни разу не захотелось смотаться туда в отпуск...

Мы лежали с Надеждой в уже несвежих, уже мятых простынях и молчали. Светало, и мы больше не были нужны друг другу. Ничто нас больше не интересовало друг в друге, и в этом факте не было ни добра, ни зла, был один голый факт, более голый, чем мы оба. Где-то там, в черных или светлых провалах ненашего измерения тихо плакала моя мама...

ГЛАВА 4

«Подстрахуйся,— сказал я Васе,— мало ли что, если ключи в замке, три минуты в кармане». Вася колебался...

Бугристая, укатанная проселочная дорога и фары с галогенными лампами, мотор, как часики, тормоза — хват, и музыка на полную мощность, так, что вибрация в ушах — бесовской ритм, ахающий и чвакающий, а сквозь ритм штопором или шампуром сакс — мировая тоска, опережающая движение, забегающая дорогу. Но когда она мировая, то все наоборот, она — как рожа паяца, ржать над ней до животных колик и бесноваться от восторга, потому что на мировую-то как раз наплевать, на рожу нарисованную — наплевать, количество — в качество и нет тоски, но только лихость и счастье внутри стального коня поперек пространства...

Вековая мечта человечества — движение поперек, наискосяк, куда глаза глядят, куда душе хочется, и чтоб лихо, и чтоб дыхание вподзахват, и чтоб мысли всякие — куда, мол, и зачем — кубарем на обочину и с глаз долой...

Вековая мечта человека по имени Я — нестись вот так средь ночи по хорошей дороге в хорошей машине в какую-нибудь очень хорошую сторону, о которой ничего не знаешь, кроме того, что она хорошая. Ах, если бы еще можно было на подъемах не терять скорость, но взлетать и опускаться по желанию, не тарахтеть колесами на дощатых мостах, а перепрыгивать через речки и ручеечки, и лес матерый по сторонам, луна бычьим пузырем над головой, в голове сквозняк оздоровительный, освежающий, в руках колесо поворотов налево, направо, налево, направо, и не потому, что дорога так диктует, а потому что сам стопроцентно согласен с ней, с дорогой, именно так и хочу — налево, направо, налево, направо!

В отличие от прочих умников я знаю, что такое счастье — это состояние восторга, но не всякого, а лишь такого, что не поддается переоценке. Женщина, к примеру,— самый доступный источник восторга, но в условиях некоторого сна разума — отбалдел на пике страсти в мозговой отключке, и через минуту реле — щелк! — женщина перед тобой та же, а мысли о ней в лучшем случае нормально-добрые, а могут быть никакие, а может быть и тоска до следующего взбрыка...

Но, положим, забрался на вершину, что вершиннее других, и — восторг! Стоишь и качаешься, и мозги при этом в полной трезвости. Можешь стихи читать, думать о земле или о космосе, ни о чем не думать, а лишь стоять и качаться от восторга и, спускаясь, никакими разочарованиями атакован не будешь, потому что и очарования не было, а было только счастье, что не разложимо по составным, его не проанализируешь, но только помнишь.

А если ночь, луна, машина, скорость и музыка бесовская, педальку лишь чуть-чуть ногой — и взмываешь на лесистый холм, а затем вниз, в бездну, куда фары еще не пробиваются, да с визгом тормозов на поворот неожиданный, но угаданный, и снова вверх — вот это счастье! Настоящее счастье, потому что в нем нет никакого смысла, то есть ни пользы ни вреда, но только дух захватывает, петь и кричать можешь или ругаться самыми последними словами, или стиснуть зубы, вцепиться в баранку, слиться с металлом в единое, несущееся поперек пространства существо, и плевать на всякие смысла и значения, что где-то сзади завихрились проселочной пылью и пропали в темноте, зато в реалиях все то же: ночь, луна, машина, скорость!

Я уходил на север. Но разве ж я первый? Сколько было до меня таких же, убегающих куда глаза глядят и куда не глядят, но душа просится! Но я и не претендовал на оригинальность, я просто убегал, уходил, исчезал, не оставляя следов и завещаний. В темноте за спиной оставалась моя неуемная жизнь, а поскольку она оставалась сама по себе, а не кому-либо в наследство, то можно сказать, что в действительности в темноте за моей спиной не оставалось ничего, кроме завихрений проселочной пыли, которая осядет на дорогу и придорожные кусты, и никому не узнать, кто в очередной раз промчался из прошлого в будущее без оглядки и покаяний. Не было вопроса: правильно поступаю или нет. Все, что произошло и случилось до того момента, когда я включил зажигание и нажал педаль движения, оценке не подлежало, оно просто случилось и произошло, то есть был факт или количество фактов, а смысл моих действий пребывал за или вне, осуществление смысла началось с включением зажигания...

Нас кто-то кому-то подставил. Кто были эти черные тени, оплевавшие нас свинцом, «органы» или конкуренты, никто понять не успел. Шансы у нас у каждого были равные. Но я жив, я мчусь на север, и дороге не видно конца, указатель уровня бензина лишь на миллиметр отклонился влево, проселочная дорога высушена недельной жарой до плотности асфальта, до рассвета еще добрых два часа,— Моисей, выводивший евреев из Египта, и мечтать не мог о таких благоприятных условиях побега. Понимаю, конечно же, понимаю, что мне просто повезло. Это мама! Не знаю, как, но это она. Ей доступны мои мысли, она знала о моих подлинных намерениях на самое ближайшее будущее, она дала мне шанс не только на новую жизнь, но и на жизнь вечную, если под вечной жизнью понимать отсутствие вечных страданий ТАМ, в ненаших измерениях и горизонтах. Не сомневаюсь, что сделала она это исключительно ради меня. Но ведь и ради нее же! Умри я этой ночью на маневренном пятачке между рельсов и шпал, кольцо моей жизни обернулось бы непрерывной цепью страданий для мамы. Я должен был, обязан был остаться жить, и сознание этой обязанности тоже, возможно, сыграло некоторую роль в моем, по существу, чудесном спасении. Все прочее, помимо цели выжить, было вторичным, и я без конца буду подтверждать эту вторичность каждым следующим шагом своей жизни. Сейчас, когда я только бегу на север,— это еще не жизнь, но только поиск условий, территории, общества, наконец, с минимальным фактором влияния на мои мысли и поступки.

Больше того, шестым чувством знаю, что бегу в единственно нужном направлении, хотя дорога для побега была одна, на всех других дорогах я мог быть легко перехвачен... Похоже, я уже вписан в программу, мной только утвержденную согласием на нее, и оттого в душе окрыленность, лихость и даже нервная дрожь порою, особенно когда выжимаю до конца педаль газа, и машина бесстрашным боевым конем устремляется в неизведанное, вышвыривая далеко впереди себя копье победы — прожектор с импортными галогенными лампами. И музыка не наша, не российская, она не вписывается в пространство, но вспарывает его, как копье-прожектор, разваливает на части по краям дороги, отшвыривает на обочины, конвульсирующее и кровоточащее с торжествующим небрежением.

Справа по ходу в мачтовых разрывах сосняка уже сочится пока еще серой слизью рассвет. Но лишь едва. Прямо по курсу полноценная ночь, значит, не менее часа праздника побега, затем нырок в глубину таежных сумерек и отдых, вовсе не обязательный, но, тем не менее, предусмотренный программой во избежание случайных встреч...

Впервые рассвет не обрадует меня. Сил еще полна коробочка, мчаться бы да мчаться, но тайна вращения планет больше моей тайны и, наверное, важнее, и, не роняя достоинства, я подчинюсь, как подчиняюсь жизни и надеюсь в свое время подчиниться смерти, ибо в искусстве подчинения есть высокая мудрость, не меньшая, чем в бунте, к примеру...

Впрочем, мудрость я проявил гораздо раньше, когда, не дождавшись полного рассвета, нырнул в тайгу по каменистому ручью. Урча, как медведь, и переваливаясь с колеса на колесо, ну совсем как медведь, машина моя всемогущая проковыляла полсотни метров и выбралась из ручья на крохотную полянку, затоптанную зверьем таежным, которое, если и пребывало в те минуты где-нибудь поблизости, то наверняка разбежалось в ужасе не столько от моторного рева, сколько от рева и визга африканских ритмов из усиленных динамиков, искусно вмонтированных в дверцах вездехода, когда я эти дверцы щедро распахнул на обе стороны. Выйдя из машины, огляделся окрест, и хоть никакого окреста не было кроме предрассветной мглы и деревьев разнопородных, я все же почувствовал себя этаким конквистадором, явившимся в мир дикой гармонии с некой цивилизаторской миссией, ибо, воистину, зачем еще являться такому, как я, в такие места, как эти!

С завтраком никаких проблем. Транспортное средство было укомплектовано на все случаи жизни. Единственно, костер развести не решился, а может, поленился, обошелся хлебом, консервами и водой из ручья. Затем вырубил музыку и некоторое время привыкал к тишине. Вытащил из машины кучу всякого тряпья, укутался им и заставил себя заснуть, то есть не обращать внимания на осмелевшее, а потом и озверевшее в тишине таежное комарье. Все получилось. Спал долго. Засыпал безоблачным рассветом, проснулся в пасмурный полдень. Прислушался к настроению души, оно явно было на прежнем тонусе. Сны, если и были, не помнились. В обойме моей «макаровской пушки» остались невостребованными три патрона. Судьбу четырех отчетливо восстановить не мог, помнил только вытянутую руку свою... сам вполуоборот к мечущимся вдоль вагонов теням... и все это на бегу... прочь... в обратную сторону... к машине... К этой самой, самой прекрасной в мире машине... Я проснулся, а она еще спала, потому что заслужила

продолжительный сон на благо следующего бодрствования...

Решил прошвырнуться вдоль ручья, полакомиться ранней голубикой или смородиной, что попадется. А повезет, так и подстрелить что-нибудь съедобное и бесцельно существующее в диком изобилии. Кланяясь голубичным кустам, несколько раз ронял «пушку» из кармана. Два рябчика, что встретились, не пожелали ждать, пока я выполню процедуру прицеливания, презрительно обсвистали. Промочил ноги, и заели комары. Вернулся на привал. Напротив машины по другую сторону ручья на пологом камне сидел Вася, зав. транспортным отделом. Был он грустен и нечист лицом, и вся одежда забрызгана черно-коричневой грязью.

— Привет! — сказал я.

Он вяло кивнул. Спросил без особого энтузиазма:

— Как машина?

Свою машину он никогда не называл «тачкой».

— Отлично,— ответил я, любовно погладив капот.

— Еще бы! — хмыкнул он самодовольно и снова погрустнел.— Теперь она твоя по закону. За маслом следи...

— Повезло мне, конечно,— извиняющимся голосом бормотал я.— Подбежал, смотрю, ключи в замке. Завелась с полуоборота...

— Еще бы! Только дорога эта тупиковая, километров сорок и упрется в Озеро...

— Знаю. На лодке ходил до того места...

— Чего ж так все неправильно получилось, а?

— Подставили нас...

— Жалко... Я же сеть заказал за десять кусков, сельсовету три штуки кинул... Все на мази было...

Он опять покачал головой сокрушенно, поднялся и стал мыть сапоги в ручье. Взглянул на мои.

— Грязь в машину не таскай.

Я тоже стал мыть сапоги, грязь на них засохла, отскребал ногтями. Головами мы чуть не сталкивались с ним. Но вот он распрямился, вышел из ручья. Рукой потянулся куда-то за спину, нахмурился.

— Знаешь, так больно было...

— Конечно...— прошептал я.

— Долго было больно...

— Но сейчас же... нет?..

— Сейчас нет. А тогда будто электросваркой насквозь... Ползу, а нутро все горит... Долго полз... К машине... Слышу, завелась... С полуоборота, да?

— Сразу...

— Зверь машина! Завелась, а я отключился...

— Я видел, как ты упал...

— Упадешь тут... Ладно, пойду я. Машину не жалей, она этого не любит. Нагрузку любит... Так что знай, газуй...

И он потопал вдоль ручья, куда я ходил только что. Комарье таежное словно со всех болот слетелось и сплелось над его головой венцом туманным. Вася уже исчез за деревьями, а венец этот будто сквозь деревья еще долго был виден, пока глаза мои не заслезились.

Больше на этой поляне мне нечего было делать. Я не хотел оставаться здесь ни минуты, покидал в машину тряпье, упаковал остатки жратвы, проверил уровень масла, там было все в порядке, завелся, развернулся и, как советовал Вася, не жалея машины, сумасшедшими прыжками помчался вниз по ручью. Выскочил на дорогу и так поддал газу, что аж влип в спинку сиденья. Покрутил ручку приемника, наткнулся на какую-то воющую ведьму и — на полную мощность! Боже, как она визжала, эта иноземная стерва! Я так и видел ее, полусогнутую с разинутой пастью, глаза навыкате, на шее все жилы вздулись, одна рука засовывает в пасть микрофон, другая зажимает развязывающийся от натуги пупок! Но как заразителен этот сатанизм! Я почувствовал, как напряглись мышцы моих рук, пальцы в мертвой хватке на баранке, и я весь, нависший над баранкой,— зверь в полной готовности к боевому прыжку, губы расползаются в оскал, того и гляди — залязгаю зубами. А из горла хрип звериный, шипенье змеиное, горготание дикарское! Ох, совсем немного нужно человеку, чтобы встать на четвереньки! А машина — вверх, вниз, вверх, вниз... Влево, вправо, влево, вправо... И вниз...

Дорога шла параллельно Озеру в обход его болотистых берегов. Когда-то там, где она заканчивалась, был центр леспромхоза, по-стахановски уничтожавшего приозерные леса. Потом вырубка была запрещена, а дорога, добросовестно проложенная по холмистым окрестностям Озера, сохранилась и кем-то даже поддерживалась в терпимом состоянии. В сухую погоду она была лучше асфальтной, в дожди по ней пробраться можно было только на машине усиленной проходимости.

Скатившись с холмов, я уже почти подбирался к тупику. Последняя часть дороги шла по болоту. Рытвины и провалы сменялись бревенчатыми настилами, где скорость при всем желании не разовьешь, и я вынужден был расслабиться, соответственно — слегка придушить все еще надрывающуюся в визге иноземную ведьму. «Ну, ты, сучка нечесаная,— процедил с властной интонацией, откручивая влево регулятор громкости,— уймись-ка слегка! А то, не ровен час, выскочу из колеи!» И вовремя. Впереди нарисовался метров на сорок бревенчатый настил с двумя рядами изрядно прогнивших досок-пятерок. Под тяжестью прогибались доски и бревна, положенные прямо на плавун, между бревнами пузырилась болотная грязь, в эту грязь прыгали в обе стороны перепуганные лягушки, и даже одна узорчато расписанная змея соскользнула в воду и затерялась в пузырях. Заброшенность места рождала в душе тревожную маету... В самом конце гати взметнулась в воздух копылуха, рев мотора не заглушил вопль ее крыльев. Петляя между полугнилых берез, она ушла влево к Озеру; провожая взглядом ее полет, я чуть было не сошел с колеи, чертыхнулся и аккуратно выбрался— вполз на небольшой холм, откуда сквозь пожухлую листву серебристым мерцанием уже просматривалось Озеро.

Я выкатился к Озеру, как Иванушка-дурачок к золотому крыльцу дворца Царя-батюшки. Разве ж это было то самое Озеро, что под городом? Одного взгляда, одного вздоха хватило, чтобы понять, что попал я в то единственное место на Земле, где счастье и радость растворены в каждой клетке и молекуле, в каждом атоме материального вещества, и более всего в воздухе и воде. Вдыхаешь воздух — вдыхаешь счастье, пьешь воду — упиваешься радостью! И преображаешься, и очищаешься... Я еще не испытал этого, но предчувствовал, догадывался... Я попросту знал! Нужно было только начать жить здесь. То есть сказать громко и решительно: я хочу, я буду жить здесь! И с этими словами жизнь начнется сама собой, просто и естественно. Но я не торопился сказать эти волшебные слова. Я хотел настроить себя на должную тональность, точнее, совпасть с тональностью открытого мною мира и отряхнуть прах суеты мира оставленного.

Для этого нужно было напиться воды, надышаться воздухом, подготовить горло к произнесению чистых и искренних слов.

Из онемевшей машины я буквально выпрыгнул, но к воде шел медленно и трепетно, как к причастию. Высмотрел большой камень в метре от берега, запрыгнул на него, лег и потянулся пересохшими губами к воде...

В это время впервые за день появилось солнце, отразилось в воде и ослепило меня. Я переместился на камне таким образом, чтобы тень от моей головы упала на воду, и когда это случилось, увидел, что вся поверхность воды у камня и дальше в глубину усеяна какими-то букашками, живыми и неживыми, и сор какой-то от деревьев, возможно, и что вообще вода у берега вовсе не столь уж чиста, как это виделось на расстоянии. Руками пытался разогнать сор, но со дна поднялась муть, и желание пить, упиться, утолить жажду ослабло, если не пропало вовсе. Раздосадованный, поднялся и с высоты своего роста опять увидел чистую воду чистого Озера, но теперь уже не обманулся.

С камня на камень пропрыгал вдоль берега до ближайшего поворота. На каменной россыпи, что клином вдавалась в Озеро, на последнем в глубину покатом скальном обломке сидела Светланочка в светлом платьице. Руками она обхватила колени, в них же упиралась подбородком, чуть покачиваясь с закрытыми глазами в такт едва заметного колыхания водяной глади. Я подобрался к ней вплотную, и моя тень упала на нее. Она обернулась, прищурилась.

— А, это ты...

Я покрутился на камне, пристроился рядом.

— Знаешь, о чем я думала? Мы считаем, что мир стремится к гармонии, к созвучию. А все как раз наоборот. Мир стремится к противоречию, к диссонансу. А мы гоношимся, гоношимся...

— Неправильно,— возразил я,— мы всего лишь не совпадаем.

— Не совпадаем,— согласилась Светланочка.— А ведь это так больно! Иногда так больно, что нет мочи терпеть. Хочется голову запрокинуть и кричать и выть по-звериному.

Плечом она чуть прислонилась к моему плечу и тихо подрагивала, как на сквозняке.

— Я не понимаю смысла жизни. Вообще. Зачем все это? Я вот такая... Почему именно такая... Почему я родилась именно от моей мамы, а не от какой-нибудь другой женщины? Знаешь, как иногда представляется: стоит где-то самый главный с большой корзинкой, полной человеческих душ. Ему каждую секунду сообщают, что в таком-то месте Земли рождается ребенок, тогда он, этот главный, встряхивает корзину и, как лотерейный шар, не глядя, вынимает одну душу и забрасывает в тельце, и тогда ребеночек издает первый крик личности. Может быть, крик протеста... Не бывает же так, чтобы родился и заулыбался. Обязательно кричит. Потому что обидно...

— Чепуха! Просто больно...

— Но это же одно и то же! Как ты не понимаешь! Петр меня не любил. Мне было обидно и больно. Это одно и то же.

Я попытался отстраниться, но она еще сильней прижалась ко мне и еще сильней задрожала. Ее дрожь передавалась и мне...

— Вот ты можешь мне сказать, почему он меня не любил? Ведь я ему нравилась. Я же хорошенькая, разве нет? Вы друзья, тоже сплетничаете, нас обсуждаете... Говорил он тебе что-нибудь? Понимаешь, это очень важно знать, почему тебя не любят! Исправиться можно, если бы знать, в чем дело...

— Мы с Петром женщин не обсуждали,— ответил я, почти не погрешив против истины.

— Но это ужасно! — прошептала она.— Это еще хуже. Значит, вы без нас о нас вообще не думали. Мы не были для вас интересным предметом для разговора. Пьяницы вот, они же любят рассказывать, где и сколько они выпили, хоть уши затыкай, все об одном и том же...

— Мы не пьяницы и не сплетники,— возразил я с достоинством.— Женщины для нас — это сугубо личное. Даже странно слышать от тебя. Только подонок может обсуждать женщину, с которой спит...

Она рывком развернула меня к себе. Глаза в глаза. В ее глазах слезы.

— Ну ты хоть слышишь, что говоришь? Ты понимаешь, что говоришь? Ты считаешь, что женщину можно только обсуждать? А говорить о ней? Говорить! С которой спишь, да? А которую любишь? А может, вы просто несчастные создания, не умеющие любить? Знаешь, пьяницы, они богаче вас, у них хоть страсть есть. Дурная, но страсть. Они каются и грешат. И снова каются. И страдают от своей страсти. Они душевные гиганты в сравнении с вами, деловыми да отважными. Их жалеть можно.

— Вот Петра бы и пожалела,— проворчал я, отворачиваясь.

Светланочка отстранилась, уткнулась лицом в колени.

— Опять ты мимо. Пожалеть можно пьяницу. А я жить не хочу без него... Скажи, он умер быстро?

— Он не мучился...

— А ты... ты не мог его спасти?

— Не мог.

— И я не могла... Значит, он жил в мире совсем один, если никто не мог его спасти. Ты «Гранатовый браслет» читал? Как думаешь, Куприн выдумал эту историю или подсмотрел? А, неважно! Такая история обязательно где-нибудь случалась. Или Квазимода... Да я бы ноги мыла...

— Сначала, может быть, и мыла. Поначалу все стелются...

— Ой, посиди уж лучше со мной молча. Пока мужик молчит, про него мечтать можно...

Светланочка вдруг оказалась не рядом со мной, а совсем на другом камне. В полупрофиль... Светленькая, остроносенькая, подбородочек... такой изящный... милый, можно сказать... И вся легкая... хрупкая...

Вдруг уже не на этом камне, а еще дальше. Стоит на берегу, а кажется, будто в воздухе... Я вскочил, побежал к ней, скользил на камнях, последние метры вдоль берега по воде...

— Подожди,— крикнул, задыхаясь,— подожди! Есть идея!

Наверное, я бежал, как сумасшедший, потому что у ног ее свалился без сил в судорогах одышки. Она опустилась рядом, погладила мою руку, скребущую песок. Поднялась, подошла к Озеру, ладошками зачерпнула воду и ко мне.

— Ну, скорей!

Вода в ее ладошках была такая чистая и прозрачная, что я сначала и не увидел ее. Один полный глоток вернул спокойствие моему дыханию, но не хотелось отрываться от ее ладоней, и я уткнулся в них лицом, целовал, целовал...

— Понимаешь,— зашептал,— мы с тобой здесь не случайно! Я, кажется, догадался! Мы должны быть вместе... Мы можем, а?..

Ни одной женщине я не смотрел в глаза с таким волнением, с такой собачьей надеждой, и, наверное, никто никогда не видел такого выражения на моем лице, как в этот момент.

— А как же Надя? — спросила она тихо.

— Но ее-то нет здесь! Нет! Нигде! Ты есть, а ее нет!

Она улыбнулась грустно, покачала головой.

— Я здесь, потому что умер Петр.

— А я тогда почему? Нет! Слушай, я, кажется, могу тебя полюбить, как ты хочешь! Кажется, это уже есть во мне где-то... Я чувствую! Ну, правда же! Сейчас все зависит от тебя, пожалуйста, посмотри на меня... по-другому! Может быть...

Все поплыло у меня перед глазами. И так уже лежал на земле, а казалось, что падаю, падаю, проваливаюсь в бездну, и сердце мое падает быстрей меня, не догнать его, не вернуть на место, но только падать вместе с ним...

Я был один. Я был почти Адам. Не знаю, что было вокруг Адама в момент, когда он обнаружил себя в Божьем мире, но вокруг меня было все, что человеку может быть обещано самым добрым Божеством: голубое небо, щадящее солнце на небе, а на земле — земля с ее прекрасными запахами жизни, лес и скалы, и Озеро — первоисточник и охранитель всего живого, и тысячи чудесных мелочей, из которых каждая со своим смыслом и предназначением, и все, что было вокруг меня, было ДЛЯ меня, потому что все видимое и осязаемое рождало во мне ответ — принимаю и радуюсь! И еще — благодарю! «И приветствую звоном щита!»

А ведь когда-то, впервые прочитав известные блоковские строки, искривился, помню, в недоверии, усомнился в том, что человеку века двадцатого доступны подобные настроения.

Но, значит, доступны! Во все времена! Но не всем, а лишь некоторым, и вот я попал в это избранное число, причем не случайно, а исключительно в награду за...

Я не хотел ни пить, ни есть, я даже женщины не хотел, и если желание вообще это недостаток чего-то, тогда в этом смысле у меня не было никаких желаний, но одна лишь только радость жизни.

Пели птицы, стрекотали кузнечики, жужжали какие-то мелкие твари — мир был полон звуков, и когда подошел к машине, грязным капотом уткнувшейся в траву, насупившейся, осиротевшей,— такая жалость, такое сочувствие накатили на душу,— к человекам не помню подобного, и по самой нелепой и кощунственной ассоциации вспомнил о маме. Я гладил руками пропыленные плоскости «джипа» и говорил тихо, но проникновенно: «Вот, видишь, началось необратимое, может быть, уже вот с этого момента тебе больше не придется страдать, глядя на меня. В кольце моей жизни начался новый сегмент, который высушит твои слезы. Я постараюсь жить долго, чтобы этот сегмент был длинным, я, собственно, и остался в живых ради этого, ради тебя, мама, потому что, если говорить честно, не имел я права оставить в своей «пушке» три патрона неиспользованными, но если хоть на минуту задержался бы там, в маневровой ловушке, то не успел бы к машине, и не вырваться бы мне тогда из того мира, где невозможно жить так, чтобы тебе не стыдиться и не страдать из-за меня. Я разочарую, я обману Того, кто приговорил тебя к вечным страданиям. По его законам справедливости Он, может, и справедлив, но по моему пониманию, поскольку другого мне не дано, ты заслужила всего самого райского».

Ключи сиротливо болтались в замке зажигания. Было желание прикоснуться к ним, только прикоснуться, но она, машина, могла неправильно понять мое прощальное движение, она, для движения сотворенная, без движения обрекалась на долгую смерть, на вечное умирание, она могла не знать, что кто-нибудь и когда-нибудь еще обнаружит ее здесь и оживит любовным прикосновением, я на это надеялся, и мое прощание с ней не было трагичным, но только грустным и благодарным.

Откуда-то я знал, что мне надо идти дальше на север, куда нет дороги, а только одно направление берегом Озера. Я вытащил с заднего сиденья рюкзак, проверил содержимое, его было достаточно для нескольких дней безбедного пути, вспомнил и поблагодарил Васю, предусмотревшего все варианты, кроме — увы! — своего, уже коротко, по-мужски попрощался с «джипом» — всего лишь жестом, и торжественно, да, именно так — торжественно — двинулся в путь, а попросту потопал вдоль берега полный сил и самых прекрасных намерений. И верил, что где-то за моей спиной и над — мама улыбается мне улыбкой благословения.

Прекрасен мой край! Прекрасен, потому что мой. Но не исключено и по-другому: мой, потому что прекрасен! Почему бы мне так не думать? Каждому с рождением дается какой-нибудь аванс, и мне, допустим, вот этот ломоть первозданности, чудом сохранившийся на севере нашего Озера, где обречен я на свершение подвига личного преображения. С каждым шагом, сделанным по благословенной земле, утверждаюсь во мнении, что можно человеку жить хорошо и правильно, что в нем самом полно всего необходимого для того, нужно только умно распорядиться собой, ведь и ума для этого у каждого от рождения достаточно. Ловлю себя на соблазне сочинить теорию счастливой жизнеорганизации, мне кажется, что она, эта теория, почти что у меня в руках, но вовремя вспоминаю, сколько таких сочинителей знает история, и трезвею.

А продвижение на север, между тем, становилось все более затруднительным. Я приближался к группе высоких и отвесных скал, и по мере приближения каменные завалы все чаще преграждали путь, на их преодоление тратил до получаса, это каких-то сорок–пятьдесят метров, а сил уходило, как на километры. Пора было делать привал, но решил дотянуть до скал, они уже были близко, или так казалось, к тому же не терпелось выяснить, есть ли там береговой проход, издали казалось, что скалы торчат из воды.

Усталость вроде бы и ощущалась, но «райские» ощущения ничуть притом не ослабевали, а напротив, глубже укоренялись в душе, потому что совсем, как в раю, то вдруг кулик сядет на камень в метре от меня, меня вовсе не замечая, то пара кабарожек спокойно продефилирует мимо в нескольких шагах, дружно взглянув в мою сторону, бурундук взвизгнет, взметнется на кривую сосну и уставится на меня удивленно и безбоязненно. А у самых скал уже — и совсем чудо!— когда-то зимовье стояло, место позаросло малинни-

ком, и муравейник чуть ли не в полурост человека, и над ним медведь, не шибко большой, но впечатляющий. Во мне проснулся было инстинкт потомков Адама, хватанулся за «пушку», но вспомнил с радостью, что я не потомок, но самый что ни на есть Адам, и тогда лишь чуть-чуть напрягшись, ну, самую малость, прошел мимо хозяина тайги деловым шагом ходока и так и не понял, был им замечен или нет...

Ах, если бы вот так всю оставшуюся жизнь — идти да идти по райским пространствам! А накопленную радость оставить в наследство потомкам! На несколько поколений хватило бы!

Тут подозрительным показался мне собственный оптимизм, и заставил думать себя о реальном, о том хотя бы, что если бы шел не по самому берегу, а чуть в стороне от него, комары за час похода превратили бы меня в ненавистника природы, или если бы дождь с утра до вечера да с северным ветром, как это частенько бывает в наших местах... А зимой! Не дай Бог зимой оказаться здесь!..

Скалы, наконец, восстали надо мной во всей своей каменной гордости, нависли над головой. Солнце, уже заметно сползающее к западу, услужливо подсвечивало их оскаленные вершины, а сосны на уступах искривились в самых невероятных позах, рассматривая меня, такого лихого и самоуверенного. Я же, хотя и смотрел снизу вверх, ни завистью, ни дерзостью обуян не был. Цель моего похода не посягала на устоявшуюся иерархию камня, дерева, земли и неба моя цель была во мне и только во мне, и не понадобилось никому этого объяснять. Добро добру не соперник. Я был призван к движению, а все, что вокруг меня,— к покою, мы были не просто союзниками, мы были гаранты друг друга. «Хороши!» — сказал я скалам. Скалы с достоинством промолчали.

При всем том берегового прохода под скалами не оказалось. Обход исключался. Оставалось одно: раздеваться и водой преодолевать скальную часть берега в надежде, что путь будет не слишком долог, вода не слишком глубока, а дно не слишком каменисто. Разулся, разделся, увязал шмотки с рюкзаком в один узел, попробовал воду рукой. Нормально. Но как только ступил ногами, взвыл утробно, и брань непроизвольно посыпалась в воду из перекошенного рта. Так неожиданно было это отторжение меня Озером, так было оно несправедливо, незаслуженно, что не сработала во мне обычная человеческая реакция, то есть я не выскочил из воды, как любой другой на моем месте, но с воплем и бранью продолжал двигаться вперед. Тысячи ядовитых игл воткнулись в икры, сотни ржавых гвоздей — в ступни, судороги молниями пронзили тело до шеи и затылка. Сам я, наверное, походил на сумасшедшего или одержимого, когда, взметая гроздья брызг, спотыкаясь о подводные камни, пер и пер вперед, то по пояс в воде, то по колено, то по грудь, с воздетыми к небу руками и промокшим узлом в руках. Сколько длилось это истязание, полчаса или полжизни, когда, наконец, оказался на песчаной полосе, определить не мог. Кровь тихо сочилась из порезанных ступней, икры противоестественно вздулись, колени посинели. Когда оглянулся на пройденный путь, поразило притворное спокойствие Озера, обидело равнодушие скал, повернувшихся ко мне спиной, хотя скалы были ни при чем...

Порезы ступней, к счастью, не были глубоки, скорей, царапины, боль утихала, и ноги оживали. Развязал узел. Джинсы изрядно подмокли, рубаха, носки, сапоги меньше. Оделся, сотрясаясь ознобом. Подошел к Озеру, попробовал воду рукой. Нормальная. «Ну и сволочь же ты!» — сказал я ему без угрозы, а так, по потребности высказаться. К тому же впереди, сколько глаз видит, берег, в каменных и древесных завалах, но все же берег, а то, что позади, оно уже позади, и билет у меня, как известно, только в один конец.

До темноты я надеялся пройти еще много. Чем больше пройду, тем меньше останется. Меня уже начинала волновать цель похода-побега, я ведь о ней еще ничего толком не знал, кроме того, что она есть. Первые сотни метров еще прихрамывал, потом разошелся, приходилось преодолевать всякие береговые препятствия, вошел в азарт, обсох на ходу, заранее радуясь предстоящему привалу с костром, в одиночку под звездным небом.

Но, похоже, тому не суждено было состояться. Чуть ли не за полкилометра увидел на отмели, заваленной топляком, людей, троих, по крайней мере, рассмотрел сразу. Они сидели с удочками на стволе громадной сосны, заброшенной штормом на вершину завала. Судя по пестроте одеяния, туристы. С краю — женщина, девчонка, скорее всего... Лодки, однако же, нигде не увидел.

Не жаждал я общения, но когда признался себе в этом, было уже поздно. Меня заметили. Девчонка махала рукой. Я ответил, но шагу не прибавил, все еще прикидывая, как бы уклониться от компании. Однако за полсотни шагов увидел, что девчонка — это Юлька, рядом с ней Петр, а дальше, вот уж кого не ожидал встретить здесь,— мать Петра и Юльки. Признаться, не сразу вспомнил, что зовут ее Марией Васильевной, и неудивительно, в доме Петра она была этаким добрым духом, всегда пребывающим то в другой комнате, то на кухне, то во дворе. Не помню, перекинулся ли я за все время знакомства с Петром десятком фраз с его молчаливой, несуетливой и застенчивой матерью.

Юлька пребывала в своем типичном щебетливом состоянии.

— Бери мою удочку,— заявила решительно, как только я освободился от рюкзака,— скоро клев начнется.

Петр сосредоточенно смотрел на поплавок и лишь жестом откликнулся на мое появление. Как только я пристроился с удочкой на обглоданной волнами сосне, Юлька тут же втерлась мне в бок и защебетала на ухо:

— Все рыбаки — шизики! Стопроцентные! И еще— садисты. Ждут-не дождутся, когда бедная рыбка их подлый крючок заглотит. Вот посмотри-ка на Петрушу моего, как он потом будет крючок выдергивать! Торжеством засветится весь! И плевать ему, что ей больно... Сам бы разок попробовал зацепиться и отцепиться... Послушай, ей же, должно быть, жутко больно, особенно если внутрь заглотнет...

— Селяви,— ответил я многозначительно, чем только подстегнул ее говорливость.

— Иди ты со своими «селяви», все вы...

— Не хочешь заткнуться, а? — буркнул Петр, а я увидел, что поплавок его вздрогнул, раз... другой... Петр весь напрягся, подался вперед, кончик его удочки подрагивал над ярко-красным поплавком, который снова замер без движения. Чуть подождав, Петр вздернул удочку, проверил насадку и закинул снова так, что теперь три одинаковых поплавка оказались на одной линии на равном расстоянии друг от друга.

— Боль есть субстанция жизни,— сказал Петр серьезно.— Где нет боли, там смерть.

— Но смерть может быть результатом боли, как симптома болезни,— возразил я.

— Нет. Смерть — это результат непреодоления болезни, а соответственно и боли.

— Какие вы умники, слушать противно! — заявила Юлька.

— Что ж это тогда за субстанция жизни, которую нужно преодолевать? — настаивал я.

— У тебя дискретное мышление. Это, между прочим, серьезный недостаток,— наставительно ответил Петр.— А все в общем-то просто. Боль, преодоление и жизнь — три ипостаси одной сущности, как Отец, Сын и Дух Святой. Отец первичен, но Он и в Духе, и в Сыне, и Они в Нем, и понимать это надо диалектично.

— Заткнитесь, а! — зашипела вдруг Юлька, тыча пальцем в мой поплавок. Что-то определенно сидело на моем крючке, и я рванул удилище. Серебристый хариус в пару ладоней взметнулся от моего рывка высоко в воздух, там, в воздухе, сорвался, шлепнулся в воду у самого завала, метнулся змейкой и пропал в темноте глубин. Юлькин визг вовсе не походил на сострадание рыбьим проблемам, я не упустил это подметить, она ущипнула меня за локоть и прошипела в ухо:

— Раз-зя-ва! Тебе зубы дергать, а не рыбу подсекать!

— Пусть живет и радуется!

— Ну да! С оторванной губой!

Она покосилась на Петра, он тоже возился с крючком, потянулась к моему лицу, я чуть отпрянул.

— Хочу губу тебе прокусить. Можно, а?

— Лучше прикуси себе язык. Вкуснее будет. И полезнее.

Обозлился ли я на Юльку или на сорвавшуюся рыбешку, но чего-то разозлился, взял и пересел от Юльки к Марии Васильевне. Она даже улыбнулась мне благодарно.

— Не знал, что вы любите ловить рыбу...

— Ловить рыбу? — спросила она удивленно.— Никогда в жизни не ловила. Много чего делала, а этого нет... Вот Петруша да, бывало засаливали даже, как натащит... И вчера вот, сказал на ночную рыбалку едут, и до сих пор нету...

— Кого... нету?..— спросил я, ощутив за воротником противный холодок.

— Да Петруши, кого еще. Юля искать пошла, и тоже нету... А ты, значит, не ездил с ними?

— С кем?

— С Петрушей и Васькой... Васька такой лихач... Баламутный... Как по улице летит, того и гляди, курей передавит. Всякий раз в калитку норовит врезаться... Смирный, но баламутный...

— Вернутся...— пробормотал я и вовсе похолодел нутром.

Она даже не взглянула в мою сторону, только покачала головой.

— Как год был ему, с тех пор трясусь что день каждый. И все цыганка подлая... Не дала я ей, что просила, так она пальцем в Петрушу годовалого ткнула и говорит: «Мне жалеешь, его потеряешь». И как не было ее, ведьмы. А я ведь верно, пожалела, платок она канючила, а я пожалела, с чего это, думаю, платок ей отдавать, и году не ношенный... Куда они нынче поехали, не знаешь?

Я тихо отодвинулся от нее, воткнул удилище в отверстие соснового сучка, выбрался на песок, упал лицом вниз. Мутило. Кружилась голова. Рядом зашуршал песок. Я перевернулся на спину. Петр сел рядом.

— Клева нет. Наверное, к шторму.

День, между тем, уже скатывался к вечеру, солнце к западу. Запад начинался за другим берегом Озера, и над ним, над другим, едва видимым берегом висело теперь порыжевшее, остывающее солнце. Оно было как раз посередине между матерью и дочкой, что застыли в неживых позах на концах сосны-топляка, выброшенной на берег еще весенним штормом. Оно хоть и угасало, но еще слепило, заставляло щуриться, и в прищуре, если б не знал, не отличил бы, которая мать, которая дочь, так одинаковы были их позы.

— Матери ничего лишнего не сказал? — тихо спросил Петр.

— Слушай, кто нас подставил?

— «Каблук». Больше некому. Перекупили, видать. Думал, угадаю, почувствую, если гнить начнет. Ловчей оказался... А ведь с самого начала по этому делу маета была. Шибко крупный кусок отламывался. Не надо было мне тебя слушать...

— Меня?!

— Хотя, с другой стороны, взять по-крупному и осесть на годик-другой, насколько хватит, а может, и вообще заняться нормальным бизнесом... Купил — продал, продал — купил... Скучно, зато с гарантией... Да, кроме «Каблука», некому... Грешил бы на «ломовиков», да они первыми легли. Видел, в решето их, падали и дергались, как в боевиках... Похоже, я зацепил одного, но горячился, обойма автоматом ушла, а потом только щелк да щелк... Тут и приложили... Ты везучий оказался, а я думал, что я везучий. А впрочем, каждый, наверное, так думает. Ладно, пойду удочки смотаю, толку сегодня не будет.

Он ушел на солнце, а фигура слева на топляке зашевелилась, выпрямилась, двинулась ко мне. Юлька опустилась передо мной на колени, склонилась.

— Ты будешь очень жалеть.

— О чем?

— О том, что ушел один, а не со мной.

— А как же мать? Она с кем?

Юлька прищурилась и долго смотрела в спину Марии Васильевны, сидевшей без движения все в той же позе, в какой я оставил ее.

— Но я же совсем молодая...— не очень уверенно проговорила Юлька.— А без меня у тебя все будет не так, может, даже плохо...

— Не каркай...

— Ты и теперь не поцелуешь меня?

— Я люблю другую.

Как от стенки горох! Тянется губами, тянется грудью. Но вдруг заметил, или показалось... Не дурачилась она. Не было в глазах обычного озорства девки-скороспелки, но тоска зрелой женщины, и даже не тоска любви, а что-то напомнившее мне взгляд мамы в самом первом моем сно-видении, когда задохнулся от жалости и сострадания и бессилен был в чувствах своих, потому что сам в том сно-видении не существовал, а только присутствовал сознанием. И это не ее, Юльку, обнял я вдруг нежно и крепко и уткнулся губами в щеку... А она почему-то прошептала на ухо: «Спасибо!» И отстранилась от меня тихо и благодарно... А должна бы обидеться, девки рано знают толк в поцелуях. Юлька поднялась, загородила солнце, уже осевшее на горизонт.

— Ты ведь ни в чем не виноват... перед Петрушей?..

— Я? Почему это?

Как-то нехорошо перехватило горло... И голос противный, будто и вправду в чем-то виноват. Взорваться захотелось, вскочить, сказать...

— Я так и знала. Не зря же я тебя с шестого класса люблю. Люблю и люблю и сколько еще любить буду, неизвестно. Долго, наверное. Потом, может, ты меня полюбишь, а я уже устану любить, знаешь, как это трудно каждый день любить кого-то...

Повернулась, ушла на бревна, села рядом с матерью, обняла ее за плечи, и застыли обе на фоне разгоравшегося заката. Петр неторопливо сматывал лески, разбирал по коленам удилища, связывал. Нестерпимо красный горизонт слепил, раздражал. И усыплял...

Проснулся я от холода и грохота. Проснулся словно без глаз, такая беспросветная темень была в мире. Глаза можно было не открывать, собственной руки не увидишь, но я пялился и пялился в темноту, пока, наконец, не уловил слабые мерцающие свечения, что, возможно, исходили от древесной гнили, скопившейся вдоль берега. Глазам, как и ногам, нужно непременно во что-то упираться, чтобы человек мог воспринимать себя, как реальность. Только тогда включится в работу мысль, и сможешь вспомнить, что находишься на берегу Озера, что на Озере шторм редкой силы, что грохот вокруг, это не только волны, но бревна-топляки, они колотятся друг об друга и об камни, не в силах ни в воду уйти, ни на берег выброситься...

Повезло, что случилось уснуть дальше от воды, потому что, сделав наугад несколько шагов, зайцем отпрыгнул назад, побитый мелкими брызгами, колючими и ледяными. Долго ползал и шарился по песку, но нашел-таки рюкзак, достал телогрейку, торопливо напялил, снова сунулся в рюкзак, попался остаток уже черствого батона и еще раздавленная луковица. Не съел, а зажрал, и тогда жажда принялась иссушать горло, и я ни в чем не мог ему помочь. Вода была рядом, ее хватило бы на все население всех мировых пустынь, но между водой и пустынями где-то в темноте шарахались бревна, способные в штормовой истерии ежемгновенно переламывать кости десяткам жаждущих, и продлись шторм до утра, человечество сократилось бы на тысячи или на миллионы... Но если в течение часа я не получу несколько глотков, человечество сократится на меня и на мою мысль о человечестве. А что такое человечество без моей мысли о нем?!

Озеро поставило передо мной задачу собственного спасения, и я должен был решить ее, ведь оно, Озеро опять же, наверняка оставило мне шанс, его нужно только найти и побыстрее, потому что горло горит, губы пересохли и слабость вот-вот поразит тело. Или, возможно, сначала разум? Галлюцинации всякие начнутся... Ведь не в пустыне же пропадаю, а рядом с водой, от одного этого можно «двинуться» быстрее, чем в пустыне.

Целлофановый пакет из-под хлеба! К счастью, он остался в рюкзаке, я не отшвырнул его небрежно, как очень даже мог... Теперь камни... Я шарил по песку, камни были под песком, я выковыривал их, складывал в карманы телогрейки. Потом, натянув телогрейку на голову, пополз к Озеру. Когда водяные брызги застучали по телогрейке, расстелил пакет, придавил углы камнями и откатился назад ровно на десять оборотов. Лежать было холодно, но сдвинься я на полметра, и можно не найти пакет. Досчитав до пятисот (а собирался до тысячи), покатился и на десятом повороте губами ткнулся в мокрый пакет. Три глотка и снова десять оборотов от Озера. Я его перехитрил, да и вообще, после шести глотков показалось, что все это испытание жаждой было не очень-то серьезно, зато холод, от которого уже не спасала промокшая телогрейка, пусть не был смертоносен, но и простуда ни к чему. В темноте можно было только прыгать на месте, и я прыгал, приседал, махал руками и таким дергунчиком встретил первое процеживание сквозь ночь рассветных полос с восточной стороны. С рассветом утихал шторм. Зато ветер, породивший его где-то у других берегов, достиг моего берега, стало еще холоднее, и, не дожидаясь полного рассвета, закинув пустой рюкзак за спину, я потопал дальше, в ту самую даль, что лежала на севере Озера и почему-то ждала меня с тем же нетерпением, с каким я стремился к ней.

ГЛАВА 5

«Человек может приказать своей душе родиться заново, и она родится. И Господь признает ее новорожденной, чистой и непорочной. И благословит!» Он сказал. Я поверил.

С какого-то момента моего похода-побега стал я ощущать в себе прирастание сил, причем усталость оставалась усталостью, голод — голодом, а силы, тем не менее, прирастали необъяснимым образом, а я не спешил делать выводы, которые ну просто напрашивались на язык. И много другого странного происходило со мной. Шел ведь берегом Озера, низиной, в сущности. А казалось, будто шагаю вершинами, и земной шар по обе стороны от меня щербатыми плоскостями заворачивается книзу, что он вообще не столь уж велик, шарик наш, элементарно досягаем и постигаем, и вообще вторичен в сравнении с чем-то иноприродным, вступившим в благотворный контакт с моей душой. Казалось, что если бы захотел, то мог бы со всем миром, живым и неживым, говорить на равных, как два единственно реальных субъекта — я и мир, если мир — это все то, что не я.

Еще представлялось, что, шагая сейчас по миру, я оказываю ему честь, которой он как-никак достоин. Хотя мог бы, положим, перелететь или переместиться каким-то иным способом туда, где должен рано или поздно оказаться, и все прочие мои соприкосновения с миром совершенно необязательны для меня и являются всего лишь итогом доброй воли, потому что мне это отчего-то еще просто нравится. Нравится шагать по песку и береговым камням, перепрыгивать с одного на другой, нравится смотреть на небо и на воду, камешек иной подобрать и швырнуть подальше. Дышать чистым, прохладным воздухом — это тоже мне нравится, а не дышать можно, но неинтересно.

Мне даже нравится быть уставшим и голодным. Никто меня не погоняет, захотел — отдохнул. А голод— нужно только озадачиться, как ночью с жаждой, но еще интереснее — провериться на выносливость и в том и в другом...

Берег петлял и извивался, и я вместе с ним. Старался идти ближе к воде, особенно где песок, чтобы следы мои были видны из космоса всякому, кто мог оттуда заглядеться на землю в неземной тоске. В поисках Божества люди задирают головы к небу, а попавший туда пялится вниз. Вот уж, воистину, глупость человеческая! Об ЭТОМ я сейчас знал больше

всех, и если соответствующим мыслям не давал ход, так только потому, что еще не время. И не место. Определится МЕСТО, придет и ВРЕМЯ. Сейчас же я только рождаюсь для нужного времени и места, и за спиной лишь одно мое небытие, из которого я объявился на Озере с великой целью: волей своей вмешаться в круг мирового зла, то есть моего личного зла, что одно и то же, пресечь его и спасти человечество, то есть мою маму, что одно и то же, от вечного страдания. И я на это благословлен! И ни слова больше!

Был полдень, становилось жарко, и пора было подумать о привале и еде. Вокруг все было красиво, но остановиться хотелось в особенно красивом месте, и я его высмотрел. С пологого холма к самому берегу спускалась рать прямоствольных сосен. Но три из них спустились ниже дозволенного и оказались в полосе воздействия штормовых волн. Волны вымыли из-под них песок, обнажив корни, и на этих корнях-ходулях они стояли теперь, обескураженные собственным легкомыслием, искривленные тщетными попытками взобраться назад на холм. Под ходулями самой большой из них можно было устроить неплохой балаган, чем я и занялся. Берег завален был сосновой щепой иногда метровой длины, этими щепками я сначала перекрыл солнечную сторону и получил теневую площадку, по бокам, со стороны Озера оставил вход, через который затем проник в убежище и развалился на еще не остывшем песке. Тогда напомнил о себе голод. Я начал выворачивать рюкзак, набралась полная ладонь хлебных крошек, перемешанных с явно несъедобным мусором. С целью отделить зерна от плевел, выполз из балагана, и в этот момент кто-то ощутимо ткнул меня в спину. Я дернулся, развернулся и замер пораженный... Передо мной стояла обыкновенная домашняя коза и, склонив чуть набок свою рогатую башку, умнющими глазами смотрела на меня.

— Слушай, хрущевская корова! Откуда ты тут взялась? — спросил я и ткнул пальцем ей в лоб промеж рогов. В ответ она потянулась губастой мордой к моей другой руке, в которой, сжав кулак, я сберегал последние хлебные запасы. Как только разжал пальцы, рогатая тварь мгновенно слизнула своим шершавым языком хлебные крошки вместе с мусором и мотнула мордой, не выказав при этом особого удовольствия.

— Ну, падла,— сказал я угрожающе,— за это я сейчас сначала отдою тебя, а потом пристрелю и зажарю.

Коза поняла меня с полуслова, символически боднула в плечо и кинулась прочь вприпрыжку в обход соснового холма, а я за ней, на ходу выковыривая из кармана куртки «пушку» с тремя неиспользованными патронами. Трудно сказать, были ли мои намерения столь серьезны, зол я, однако же, был, потому и не сразу заметил, что бегу по тропинке, не ахти как утоптанной, но очевидной. Короткий козий хвост мелькал впереди меж кустов багульника, и всего лишь через минуту преследования мы, то есть коза и я, оказались на небольшой полянке перед жалкой зимовьюшкой, сколоченной из жердей, с односкатной крышей, покрытой все той же сосновой щепой. Примитивная вставная дверца валялась рядом с еще дымящимся кострищем, сооруженным из камней, на камне — котелок с торчащей из него деревянной ложкой. Картинка была — что подарок золотой рыбки! Я приближался к кострищу, как Али-баба к сокровищам разбойничьей пещеры. С «пушкой» в руке опустился на колени, и запах настоящей ухи привел в благостный трепет всю мою физическую сущность. И тут из зимовьюхи появился человек. Когда, перешагнув через порожек, он разогнулся, я даже ахнул от удивления, столь необычен внешностью был этот владелец наглой козы. Не будучи специалистом в разного рода церковных причиндалах, я, однако же, сразу зачислил незнакомца по этому, ныне вновь обретающему популярность ведомству. Он был не в одежде, но в облачении, весьма скромном, скорее всего в рабочем варианте облачения, но ведь не спутаешь. Ликом человек был, как и положено, светел. И с этим тоже не ошибешься. Человека, не свершавшего в жизни ошибок, узнаешь, как самого близкого родственника. Ох уж эти счастливчики-безошибочники, отличники жизни! Никогда им не завидовал.

Не без раздражения ждал я, когда он начнет вещать типично проникновенным голосом, и был весьма ошарашен, услышав, во-первых, очень низкий тембр, а во-вторых, почти грубость.

— Стрелять-то ведь не умеешь. Зачем с оружием таскаешься? Оружие не для таких, как ты!

Теперь только заметил, что он молод, возможно, не старше меня, что, должно быть, очень силен. Даже хламида свободного покроя не могла скрыть атлетичности его фигуры, и отчего-то я не спешил расставаться с «пушкой».

— По-моему, тебе сейчас сподручнее в руке ложку держать.

Ах, как он был прав! Я сунул «пушку» в карман, поднялся.

— Будем знакомы! Меня зовут...

— Неважно. Садись и ешь, пока уха совсем не остыла.

Согнулся пополам и исчез в избушке. Я посчитал, что церемониальная часть так или иначе выполнена, и в течение нескольких минут бездумно наслаждался ублажением моего обидчивого желудка. Хозяин появился, навис надо мной с берестяным туесом в руках. Я поднялся и принял от него. Молоко. Конечно, от той самой, что привела... Она, между тем, стояла отдаль у края поляны, пялилась на меня и задумчиво жевала. «Бывай здорова, рогатая!» — пробормотал я вместо «спасибо».

И тут мой благодетель улыбнулся нормальной человеческой улыбкой.

— Хлеба, к сожалению, нет. Не сеем, не пашем.

— И давно... не сеете и не пашете?

Пристально посмотрел на меня, ответил уже без улыбки:

— Со дня Второго Пришествия.

— Вот так, значит? — уточнил я.— Последнее время газет не читал, не в курсе. Можно пить?

— Конечно.

Подлая утроба моя торжествовала по мере насыщения козьим нектаром. Благость распространялась от горла по всему телу, тело сладостно постанывало, голова хмелела, точнее, мыслящая субстанция в мозгах пришла в этакое прибалдежное состояние, когда все мысли в обнимку друг с дружкой, и никаких тебе антимоний, окромя всеобщего со-голосия... Забыв о своем кормителе-поителе, пошатываясь, отошел подальше от кострища, сначала на колени пал, а затем развалился на траве, раскинув руки так, словно весь мир хотел заключить в благодарные, дружеские объятия. Какие-то ленивые сомнения заползали в душу и лениво окапывались там с моего ленивого согласия.

Мир физических предметов терял причинные связи: деревья свободно перемещались по холмам, Озеро облаком проплывало над землей, кролики гипнотизировали удавов, люди расходились друг от друга в разные стороны, и для каждого находилась сторона...

Потом грани вещей стали исчезать, вещи растворяться в вещах, так что остались одни цвета, но взаимопоглотились и они, мир превратился в одноцветный экран, на котором медленно начало вызревать изображение самого главного, ради чего весь мир пожертвовал своим разнообразием. Сначала руки... Да, сначала это были руки, и долго были только они, а я уже трепетал, потому что узнал их. Руки были на лице. Сквозь неплотно сжатые пальцы я видел мамины глаза, а в ее глазах был ужас! Она смотрела на меня, то есть, без сомнения, я как-то присутствовал перед ее взором, ведь ни с чем не спутаешь обращенный на тебя взор. Но ужас... Словно не меня она видела, а мой разложившийся труп. Я же был жив, я не просто был жив, я был жив новой жизнью, в сущности, сейчас я был несоизмеримо лучше того, кого она родила когда-то, и если б я был таким от рождения, потусветный приговор обернулся бы для нее вечным раем, вечным блаженством... Раздражение охватило меня.

— Какого черта, мама! — закричал я, и это было ошибкой. Экран потух. Наступившая темнота была похожа на небытие, из которого меня выдернули людские голоса. В том месте, где тропа выходила на поляну, на границе зарослей багульника и поляны мой благодетель разговаривал с мужиком, что был ему по бороду, не по-таежному цивильно одет, а на фоне баса хозяина козы его голос слышался почти что бабьим визгом и показался мне знакомым. Заметив, что я встал, гигант в церковном облачении сделал какой-то жест, и его собеседник, торопливо кивнув, засеменил по тропе в сторону Озера. И тут я узнал его.

— Стой, сука! — взревел я, выхватывая «пушку» из кармана.

Вместо выстрела — щелчок. Патрона почему-то не оказалось в патроннике. Передернув затвором, я кинулся к тропе и на бегу успел пальнуть пару раз в мелькавшую меж кустов спину, но был как скалой перехвачен...

— Убийства жаждешь?

— Это «Митрич» Каблуков! Он нас всех подставил, гад! Из-за него... Не мешай!

— А ключи помнишь? — спросил громоподобно «святоша», и голубые молнии сверкнули в его небесных глазах.

— Какие еще, к черту, ключи?! — хрипел я, задыхаясь яростью.

— Ключи в замке зажигания! Об этом ты помнишь?

— При чем здесь ключи? — взвыл я вдруг осипшим голосом.

— Но ты же помнишь о них?

Я пятился, а он наступал, словно загонял в угол. Боже мой! Как он был велик и прекрасен! Почти на голову выше меня, а я — выше среднего... Легким касанием длани своей, что величиной со сковородку, он бы мог запросто сломать мне шею или... зашвырнуть на небо. Меня вдруг охватил соблазн застрелить его, не пристрелить, а именно застрелить, чтоб заткнулся и потух глазами-сверлами, и так велико было искушение, что запихал торопливо «пушку» в карман и куртку застегнул на все оставшиеся пуговицы. Опустился на траву рядом с козой, которая на радостях миролюбиво боднула меня в бок.

— Пришли великие времена,— басил надо мной ее хозяин,— а ты суетой обуян, намерениями жалок и оттого слаб душой и телом.

— Мои намерения...

— Они мне известны,— отрезал.

— Вообще бы и познакомиться не мешало,— пробормотал я, окончательно пасуя.

— Зови меня отец Викторий. А про тебя все знаю. Пошла прочь! — это он козе, которая лезла целоваться. Покорно вякнув, она отпятилась от меня на пару шагов и вперилась в хозяина заискивающим взглядом.

«Не уступи, не подчинись!» — вопила моя душа. «Не упорствуй, не упрямься, не капризничай!» — настаивал мозг. «Шли бы вы все...» — отвечал я.

Как небо посерело, не заметил. Как солнце затянули серые тучи, просмотрел. Как умолкли птицы и ветер зашелестел в травах, прослушал. И лишь когда первые капли дождя упали на шею и закатились за шиворот, закрутил головой в замешательстве.

— Пойдем в жилище,— сказал отец Викторий.

Если бы в этом, так называемом жилище, он вздумал выпрямиться во весь рост, то высунулся бы из крыши, как минимум, по грудь. Даже сидя на голом жердевом топчане, он почти касался головой потолочного перекрытия из тех же, как попало набросанных неошкуренных жердей. Лампадка замысловатой конструкции горела бойко, издавая слабый, но какой-то противный запах. Стол — чурка. И стул — чурка. Мы сидели друг против друга, наблюдая игру теней на наших лицах. По крыше забарабанил дождь, и я ждал, что вот-вот где-нибудь обязательно закапает, но, видимо, крыша была сработана добротнее, чем казалась с виду. Дверь, щитом вставленная в неряшливый дверной переплет, убедительно изолировала нас от непогоды, лишь иногда под напором дождя и ветра издавая едва слышимое дребезжание. В мерцаниях лампады можно было вообразить, что находимся не в избушке посередине земли, но в отсеке ковчега, скользящего сквозь мировое ненастье в поисках вершины спасения, а напротив меня — прародитель нового человечества, обреченного на счастливую вечность... Если бы не вонь от лампады...

— Божий мир бесконечен,— заговорил отец Викторий своим красивым низким голосом.— Твоему представлению доступно такое понятие?

— Худ умишком, но к уразумению сподвижен.

— Не ерничай! — сурово сказал он.— Обязан вникать в мои слова, кои ни от кого более не услышишь. Бесконечен он, то есть без начала и конца. В каждой точке творения смысл всего мира, и весь мир — во имя единой души понят может быть, и оттого всякая душа право имеет почитать себя наиглавнейшей во всем мироздании. Нет близких и дальних, поскольку бесконечно Творение. Всяк вправе почитать себя наипричастнейшим Творцу, потому что душа одного с прочими душами не соприкасается, но только знает о них, и не верит другой душе и не любит другую душу...

Я вздернул руки над головой, насколько позволил потолок.

— Стоп! Прошу прощения, но проповедь я не заказывал. Уха — да! Молоко — да! Проповедь — нет! А если принципиально, то мне больше нравится: «Возлюби... как... себя!» По крайней мере, есть чему позавидовать. Я романтик, дорогой отец...

Тут он запрокинул голову и заржал громоподобно и заразительно, абсолютно по-человечески, в лампадных бликах сверкнули слезы, и он вытирал их своими

руками-лопатами. Никогда не слышал более приятного, да нет, чего там,— более прекрасного смеха,— этакий громила, облачение, лик, глас — и хохот, к которому так и хочется пристроиться хихиканьем!

Вдруг он словно маску снял, вперился в меня с прищуром, потом как-то весь осел, куда-то подевались величие и осанка, лика тоже будто не было,— обычный мужик с приятной физиономией и с предложением разговора по душам.

— Значит, возлюбить ближнего, как самого себя?

— Ну, допустим,— осторожно согласился я.

— Тогда для начала расскажи мне, как ты любишь самого себя!

— Чего рассказывать... Не скромно... И не обязан...

— Конечно, не обязан!

Пододвинулся ко мне, насколько позволяло расположение топчана и чурки, на которой я сидел. Наклонился так, что я мог, не протягивая руки, схватить его за бороду. Упер локти в колени и на уровне моего лица скрестил ладони.

— За что же ты любишь самого себя? За ум, за честность и порядочность, за трудолюбие? Назови свои достоинства, кои рождают твою любовь к себе.

— Не хуже других...— проворчал я, улавливая намеренную издевку в его голосе.

— Лукавишь! Не можешь ты любить себя, потому что всего себя знаешь. Оттого и довольствуешься сравнением, дескать, не хуже других. Это не любовь! Любовь исключительно превосходными степенями вызываема. Если любишь женщину, значит, она наикрасивейшая из всех других, с кем сравнить можешь. Мать любишь — так она единственная из всех тебе жизнь дала, и оттого важнее всех прочих. А себя-то, помилуй, за что тебе любить, просто жить хочешь по инстинкту всякого живого, ублажаешь материю свою... А материя смертна и к смерти стремится. Она не жить хочет, а прожиться скорее и исчезнуть. Чревоугодие, к примеру, что есть? Ублажение желудка, сокращающее сроки его жизни. Или сладострастие? Это как если бы не пешком шел к пропасти, а бегом бежал. Если бы ты действительно любил себя, то себя бы и соблюдал на пользу жизни и соображения имел бы такие, что приближали бы состояние материи твоей к духовной сущности. Не можешь ты любить себя, поскольку не исключителен, а всего лишь не хуже других, но ведь хуже некоторых! Это ты тоже знаешь! Разве нет?

— Без пол-литры не разберешься...— бормотал я, чувствуя, как безнадежно портится настроение.

— Разберешься,— серьезно возразил он,— потому что разум твой лукав, суть подвижен, способен постигать противоречия...

— А мне это надо?! — зло спросил я.

— Вчера, может, и не надо было. А сегодня уже не пройти мимо, как не прошел ты мимо меня. А ведь мог бы? Так я завершаю мысль: не можешь ты любить ближних, как самого себя, потому что не знаешь любви к себе.

— Выйти хочу воздухом подышать, коптилка ваша воняет... Какую гадость заливаете туда?

Я наклонился над лампадкой в форме шестилепестковой розы и отшатнулся в отвращении. Даже голова закружилась.

— Что ж,— согласился отец Викторий,— дождь утих, можно выйти. К ночи ясность будет в небе и полнолуние.

Дверь он не открывал, а просто вышиб ногой. Дневной свет ослепил, как солнце, но солнца не было. Пасмурность еще низко висела в воздухе серыми клочьями и сгустками. Зато воздух! И тишина! И лишь одна-единственная птичка где-то рядом засвистывалась до одури, да Озеро сдержанно рокотало за кустами и деревьями. Я сделал несколько шагов по мокрой траве к кострищу. Котелок был полон воды, и деревянная ложка плавала в нем. Вспомнил про свой рюкзак и телогрейку, что остались на берегу в наспех сооруженном балагане. Все промокло, поди... Теперь сушись до вечера... Ночевать придется здесь... Эта мысль не радовала, словно терял темп движения, а вместе с ним и ясность цели...

— Как я вас понял, я должен паче прочих возлюбить самого себя, дабы уметь любить этих самых всяких прочих, ближних и дальних. Тогда уж объясните, как мне приступить к самовозлюблению!

Из-за моей спины послышался его басистый говорок, в котором снова зазвучали проповеднические нотки.

— Любовь не поблажка. Любовь — требование. Любить себя — требовать. Любить ближних — требовать. Если быть не хуже других, можно жить где угодно. Живя где угодно, себя не полюбишь, оттого что вокруг такие же. Мир грязен и сам грязен. До любви ли, когда кругом равенство во грехе. Чтобы отринуть заразу, надо возненавидеть мир, то есть ближних, оттолкнуться в презрении и сказать себе: «Я в мире один! Я спаситель мира. Я грязен, и мир грязен. Я чист, и мир чист!» Чтобы отвратиться от своего греха, надо сначала возненавидеть его в других, в других он виднее. Осуди ближних, приговори их к мукам, муки других содрогнут твою душу, и тогда она начнет очищаться. Так начнется твой путь к ближним— через любовь к себе и ненависть к ним.

Я резко развернулся к нему, выхватил «пушку».

— А может быть, мне просто всех этих ближних пиф-паф, чтоб проблем не было, и возлюблюсь на отстрелянном пространстве!

Его взгляд штыком вонзился мне меж бровей.

— А разве это уже не произошло?

— Что? — разом охрип я.— Я никого не убивал...

— Но кто-то убит?

Мне во что бы то ни стало нужно было сесть. Но не на что. Пошатываясь, я крутился по поляне, не заметил, как отец Викторий вынес из избушки чурку, увидел ее у кострища, дотащился и сел. Я сидел, а он стоял надо мной, упираясь головой в небо.

— Ты, кажется, стал доставать меня, святой отец...

— Нет еще,— отвечал он спокойно,— мыслью ты ленив и характером упрям. Но достану. Мнишь себя ящерицей. Тебе на хвост наступают, а ты тешишься, что оторвешься, когда захочешь. Оторваться же не можешь, а только разорваться. Но до того дело не дойдет. Давно, поди, уже догадался, что с некоторых пор ты не просто кто-то, а некто... Догадался?

— У меня есть цель. Моя личная цель. Без подробностей. А больше я ничего не знаю и знать не хочу.

— Но разве ты знаешь, куда идешь? — вкрадчиво спросил он.

— Иду, куда приду...

— Нет,— отрезал он,— придешь, только если узнаешь, где тебе нужно быть. Сейчас иди на берег на свое место. У меня время говорить с Небом. Придешь, как стемнеет. Тебе нужно отдохнуть. Иди!

Я действительно устал. Усталость вырастила горб на моей спине, он пригибал меня к земле, вдавливал в землю, по тропе брел, шаркая, не отрывая ног, благо,

сосновые корневища нигде не переползали тропу. Дурная это была усталость, гнетущая, и накопилась она не в ногах, а где-то в затылке, а в ноги лишь сваливалась по позвоночнику.

Озеро, увидев меня, выходящего из распадка, угрюмо заухало, заахало, зашипело волнами по песку, словно предупреждало кого-то об опасности моего появления. «Чьи-то страсти,— бормотал я,— сошлись на моей биографии. Я этого хотел? Мне это надо? Лично моя проблема одна — мама! Откуда наползло остальное?» Подошел к воде, с трудом присел на корточки. «Может, ты мне скажешь, мокрая субстанция, кому и что от меня нужно?» Волна откатилась от моих ног, на расстоянии десятка шагов вздыбилась, как кошка на собаку, кинулась с шипением, и хотя я был за пределами досягаемости, изловчилась-таки ужалить в лицо почти ледяным взбрызгом. Я не на шутку обиделся, вытер физиономию рукавом, хотел камень кинуть, но не было сил, еле поднялся с корточек. «Разберемся,— пообещал многозначительно, это все интриги! Никто нас не поссорит!»

В моем скороспелом балагане оказалось почти сухо. Чуть подмок рюкзак, я вывернул его сухой стороной, подложил под голову, телогрейку постелил, ей же и прикрылся и упал в сон, как в небытие.

Проснулся от холода и тревоги. Озеро все так же занудно ахало... Я тоже ахнул, когда выполз из шалаша. Эллипсоидная луна громадным золотым подносом висела над Озером, сверкающая золотым отливом лунная дорога, где-то начинаясь, заканчивалась у моих ног. Мне оставалось только шагнуть, а потом шагать и шагать... Это была откровенная провокация, это была примитивная провокация! На что расчет? Что на золото падок? Да по мне век его не видать! Да и вообще, луна— это больше по женской части, это у женщин с луной психология повязана. Мужику солнце подай, а коли ночь, то меньше, чем на космос, не соблазнится...

На береговых отрогах лунной дороги я демонстративно проделал все известные мне физические упражнения по разогреванию, разогрелся и, сделав ладошкой «чао» желтому подносу над Озером, потопал в распадок на свидание с отцом Викторием. Тревога, с которой я проснулся, более похожая на страх, усиливалась по мере приближения к поляне, откуда уже докатывался до меня запах костра. В костровом подсвете отец Викторий, сидящий на чурке, походил на шамана, готового к магическому действу. Хотел понаблюдать за ним из темноты, но чертова коза не хуже сторожевой собаки учуяла мое присутствие и вынеслась на меня с идиотским блеянием. Я приблизился к костру походкой бездельника, проходящего мимо и заглянувшего на огонек. Отец Викторий поднялся навстречу и сразу же сделал жест следовать за ним. Я думал — в избушку, но мы обошли ее, и когда она полностью перекрыла нам костер, он остановился и задрал бороду к небу. Затем длань свою длиннющую простер туда же.

— Видишь бледное созвездие, пауку подобное? Теперь чуть левее красноватая мерцающая звезда. Видишь?

— Вижу. Красноватую и мерцающую...

— Еще несколько дней назад ее не было на небе...

— Представляю, какой балдеж у астрономов...

— Две тысячи лет назад вот так же в небе появилась звезда... И началась новая история человечества.

— Понял. Сейчас она кончается. Так?

Отец Викторий опустил руку, но продолжал стоять, вперившись в небо. У меня устала шея, и я остался присутствовать при созерцании. Когда мне и это надоело, он повернулся ко мне. Я почти не видел его лица, какой-то объект за спиной перекрыл луну, и тень, скорее всего от дерева, падала на нас, стоящих друг против друга, только теперь я задирал голову, потому что отец Викторий подошел вплотную.

— Он идет к людям... Он идет в люди... Что это значит, ОН ИДЕТ? И тогда, две тысячи лет назад, никто с неба не спускался. ОН рождался на земле человеком, по-человечески рос, от человеков неотличимый до поры до времени, а потом объявился людям с истиной, которую от рождения вовсе не знал, но познал опять же по-человечески. Героем себя не мнил, к жертве не стремился. Улавливаешь мысль?

— Не очень...

— ОН и сейчас здесь!

— Где?

— Об этом и будем говорить с тобой.

— Ну да! — возликовал я.— Дурак, но понял. ОН— это вы! А я — кандидат на первого апостола! Я должен возвестить человечеству о вашем пришествии.

Развернулся и потопал к костру, продолжая теперь уже кричать чуть ли не во весь голос:

— Благодарю весьма за честь! Но в этом доме отчего-то я не хочу ни пить, ни есть, ни слушать глупых анекдотов! Но даже если бы это не было анекдотом, так тем более, Священное писание почитывали и на арену со львами не жаждем!

Отец Викторий шел за мной, обогнал и перегородил дорогу с другой стороны костра. По внешнему виду, по крайней мере, он сошел бы за пророка или кого-нибудь еще поважнее, и никак не хотелось думать, что просто псих, потому что за такого психа в определенных условиях можно и голову положить...

— А то, что с тобой случилось за эти дни, на анекдот похоже? Ты,— он простер руку над костром,— не я, а ты, обычный из обычных, возжаждал чистоты души и мысли, ты ушел от мира в пустыню и доподлинно зрил тех, кого уже нет в этом мире, тебя я ждал здесь, среди камней и деревьев три дня и три ночи, и ты пришел и не мог не прийти, потому что взором молитвы я не только сопровождал тебя в пути, но и направлял по мере сил моих, ибо так было определено Небом...

— Приехали! — спокойно констатировал я.— «Вялотекущей» здесь уже не отделаемся! Значит, повторнопришелец — это я!

— Словами не озорничай! Скромна моя задача: только подготовить тебя к тому, что откроется тебе скоро и покажется ношей непосильной, но когда откроется, ответ на главный вопрос уже будет у тебя в душе, а моя миссия на том и кончится.

Я подкантовал чурку ближе к костру, уселся сперва грациозно, но чурка была низковата и более удобна для позы мыслителя, каковую я и принял, отставив локоть левой руки, а на правую подбородком в ладонь водрузив свою «забубенную» голову. На фоне затухающего костра я, наверное, был хорош и киногеничен, и апостол, возвышающийся над мной по ту сторону костра, мог бы и затрепетать, но смотрел на меня сурово и скорбно, как многомудрый отец зрит своего шалопая-наследника. Голосом уставшего мудреца я вопрошал его.

— Скажи, отец Викторий, отчего человеку свойственно периодически посягать на судьбу всего человечества? Отчего не мирится он с участью щепки, заброшенной в водоворот судеб? Почему то и дело

тужится он и тщится провозгласить некий главный вопрос бытия, чтобы ошарашить и озадачить род человеческий и увидеть его перед собой рядами с открытыми ртами и выпученными зенками? Откуда, наконец, у отдельного индивидуума появляется потребность объявить себя равным соборному человеческому разуму и вещать от его имени? Как рождается в человеке смелость на то и дерзость, и тяжко ведь, такую грыжу души можно схлопотать, но нет же! То тут, то там возникает некий отщепенец, и человечество забрасывает дела по хозяйству и спешит на площадь побалдеть, утром вознести, а вечером разнести на кровавые кусочки очередного мессию!

Скрестив руки ниже пояса, уложив бороду на грудь, стоял отец Викторий с закрытыми глазами и провоцировал своим видом рабскую дрожь в моем теле. Не будь он «с приветом», остался бы я при нем, пас бы козу его, мыл ему ноги, добывал пропитание, иногда убегал бы в мир и возвращался с искренним покаянием и тяжким трудом и смирением вымаливал благоволение его. Это же надо! Первый человек в моей жизни, которому мне хочется подчиниться, и у него не все дома... Думал я так, а говорить продолжал о другом, потому что не хотел тишины между нами.

— Помните, отец Викторий, вы говорили, что одна душа другую не знает, не верит... Если изменить акцент, то именно тут можно попытаться выкопать зарытую собаку... Как только человек пробует пристально всмотреться в свою душу, он начинает сомневаться в реальности других душ, потому что его собственная разрастается до размеров космоса, а космос один и един, и легко соблазниться, что все тебя окружающее — лишь интерьер... Вот небо, к примеру, синяя плоскость со звездами, луной и солнцем — это же в действительности нечто совсем иное, чем то, что видим. Обычный глаз видит только декорацию...

Увлекся я, что ли... На тлеющие угли засмотрелся. Глаза поднял, а его нет. За спиной стук. Всмотрелся— дверка в избушку закрыта. Вот так! Не вынес блаженный моего словесного поноса, упел в затвор. Стыдно стало. Подошел, поскребся в дверь. Оттуда, как из глубокой пещеры, с резонансом уверенный голос...

— С рассветом иди дальше, куда шел. Встретишь людей, которые тебе нужны. С ними останься и жди!

И все. Не меньше пяти минут стоял я еще под дверью. Ни слова. И мои слова, что обязан был хотя бы из приличия произнести на прощание, не сложились, завязли в зубах, выплюнул их с досадой, когда брел к берегу Озера. Уже светало, хотя Озеро еще лежало во мраке. Утренняя прохлада не корежила тело, а напротив, выпрямляла меня, наливались упругостью мышцы, бред, засевший в мозгах с прошлого вечера, выветрился, голова стала легкой, все нормальные человеческие чувства и ощущения обрели готовность воспринимать мир, как им и положено, и ноги запросились в работу. Затолкав в пустой рюкзак телогрейку, закинул его за спину и уже тронулся было, но остановился, вынул из кармана «пушку», зашвырнул в кусты и тогда только воистину обновленный и вполне счастливый потопал вдоль берега, еще сумеречного, но уже неопасного движению.

Если бы на этих первых метрах моего шагания меня остановил кто-то, искренне сомневающийся в смысле жизни, я б ответил ему задорно и кратко: жить — это ранним утром идти куда-то. И все! И пусть бы он потом разочарованно смотрел мне вслед, но ведь это он смотрел бы мне вслед, а не я ему, и этим все сказано! Вообще, что такое — хорошее настроение? Спросил — ответил: совпадение биологических ритмов человека и природы, что вокруг. Раз! Совпадение намерений. Это два! У природы нет злых намерений. В природе нет умышленного зла, природа нравственна по структуре и функциям, и она в гармонии с человеком, когда он чист помыслами... Или наоборот, чистый человек изымает из природы дурные намерения и сотворяет гармонию ритмов... Или еще как-нибудь... Когда хорошее настроение, куча прекрасных мыслей в голове, и радостно выстраивать их одну за другой, безбоязненно перетасовывать тезисы с антитезисами и наслаждаться тем, что, как ни жонглируй словами и значениями, в итоге нарисуется умная или не очень, но непременно добрая мысль, и никакая другая, а ведь слова те же самые, из каких и злая мысль составляется, но вот нет! Хорошее настроение так тебе расположит слова и смыслы, что будто зла в них вообще не предусмотрено! Чудесно это и таинственно, тем более, что все это в человеке, а не вне его...

Сзади человеческий крик, и это так не к месту. Отец Викторий нагонял меня. Я остановился с досадой и пошел навстречу ему. Он протянул мне «пушку».

— Возьми. Это тебе еще пригодится. Все другое, что окажется под рукой, будет хуже... Возьми... пожалуйста...

С шизиками не соскучишься. Всю ночь апостольски вещал, а сейчас в глазах мольба, и в голосе сквозь бас хрипотца робости, и даже ростом чуть меньше стал... Я взял «пушку» за ствол, покрутил в руке, подкинул...

— Знаешь что, дорогой дядя Витя, тебе не удастся испортить мне настроение. Нет! Не получится! Что-то есть в тебе не от мира сего, но это есть в каждом шизике, в тебе просто поболее... Я даже готов признать в тебе всякие провидческие и пророческие качества, и думаю, что неспроста суешь ты мне в руки эту штуку, но посмотри-ка, что я делаю!

Размахнулся и «пушку» в Озеро. Да так далеко, как такого же веса камень ни в жизнь не закинул бы. Шлепок с брызгами, и чиста озерная гладь.

— Ты понял, да? Я свободен. И свободою велик. Что будет, то будет, но моей волею, а не твоим вещанием. Так что, бывай здоров и не чихай! Это мой путь, а не твой, сам пошел, сам дойду...

Ничего не осталось от его «лика». Жалкий, испуганный мужичок. Сгорбился и потопал назад. Не знаю чем, но чем-то я сломал его, согнул, во всяком случае, и тихое торжество посетило мою душу...

ГЛАВА 6

«Идешь к женщине, бери кнут»,— так говорил, кажется, Заратуштра и был ну до смешного не прав!

Это место я узнал сразу. И не потому, что оно по всем признакам походило на конец пути, когда скалы, те самые, что уже были мне однажды поперек, а потом отступили от берега, здесь снова вышли на берег и перегородили его, и не потому, что берег, плавно изгибаясь влево, незаметно превращался в берег той, другой стороны, сначала видимой, а южнее исчезающей в запоздалом утреннем тумане. Признаков конца пути было полным-полно, да только были они вторичны, потому что стоило только вывернуться с послед-

него поворота, тут же и ахнул радостно и удивленно, пригнулся, короткой пробежкой достиг огромного покатого камня у самой воды, упал на его шлифованную грань и из-за ребра грани, как из засады, выглянув, зашелся восторгом... Так вот, наверное, ветхозаветные евреи обмерли однажды, увидев на горизонте очертания земли обетованной...

Жадным глазам моим открылась лазурная бухта и скалами окаймленная долина, не долина даже, а просто очень большая поляна и посередине ее жилище, настоящее жилище, в котором, как говорится, жить-поживать, да добра наживать, и добро это было в яви: лодка на берегу, сеть на кольях, сытая корова на траве — не паслась, но возлежала по-хозяйски, куры неторопливо выписывали круги у крыльца, с типично куриным самодовольством подергивая шеями, собака на крыльце — лайка сибирская, хвост кольцом... А уж сам-то дом — мечта хозяйственного горожанина, не иначе, как из кедра сложен, бревно к бревну, что стена крепостная... Под одну крышу все постройки сведены: коровник, или как у нас говорят — стайка с сеновалом, дровенник, и все это сделано стройно, опрятно, любовно. Господи! Счастливые и свободные люди живут в этом доме, в этом месте, на этой отдельно взятой поляне у Озера!

Я перевернулся на спину, раскинул руки и уперся зрачками в небесную голубизну, которая не была где-то в вышине плоскостью, как обычно, но заполняла все пространство вокруг объемно от камня до космоса, и в глаза мои проникла, затекла мгновенно, а я каждой клеткой почувствовал в себе прибыток спокойной, доброй энергии или просто жизненной силы, что в действительности, наверное, не что иное, как любовь к жизни, когда нравится жить, быть живым, нравится — и все тут!

Сейчас я уже не сомневался, что всю свою жизнь стремился попасть, оказаться в таком вот месте, что ничего другого не было уготовано судьбой, что был ею ведомый от первого шага по земле до этого последнего, когда побежал и упал на камень, задыхаясь от счастья. И все, что случалось и случилось со мной от первого шага до последнего в том, другом мире, не было собственно моей биографией, но лишь предысторией, которая не в счет, о ней можно не помнить, ее не нужно принимать всерьез, и оттого я, объявившийся здесь, чист более, чем новорожденный, ибо заново рождена душа, а может, и вообще — я ее только что впервые получил вместе с энергией синего пространства, что надо мной и вокруг...

Я не приходил сюда, я объявился здесь. Иначе как объяснить, что лайка, эта суперохотничья тварь, не почувствовала моего появления, но достаточно было сказать самому себе твердо: «Все. Иду!» — и лишь приподняться из-за камня, как она пушистым вихрем сорвалась с крыльца и, зайдясь лаем, понеслась навстречу. Десятка шагов не успел сделать, а она уже крутилась вокруг, демонстрируя белизну клыков и работоспособность глотки, кусать же в ее обязанности не входило, и я знал об этом. К лайкам всегда относился с почтением. Есть в этих наших сибирских собаках редкостное чувство собственного достоинства — знают себе цену труженики тайги, всякую дрессировку на человеческую потеху презирают — даже лапу не выпросишь, потому что баловство да и только.

Я шел к дому, она же носилась кругами и сообщала миру, что я иду. Шевельнулась дверь, и на крыльце появился мальчонка лет пяти. Был он заспан, ладошками протирал глаза, а когда протер, наконец, радостным изумлением осветилась его курносая мордашка. Он так шустро протопал по ступенькам, что я испугался за него.

— Здравствуйте! — крикнул звонко, набегая на меня. Бегущего его я перехватил, подкинул на руках, а его ручонки сомкнулись на моей шее.

— Вы к нам в гости, да?

— В гости, если не прогоните!

Мысль, что гостя можно прогнать, показалась мальчишке такой смешной, что смех его колокольчиком рассыпался по всей поляне-долине, даже лайка заткнулась от зависти.

— У нас давно никто не был в гостях,— сообщил он мне, когда поставил его на землю.

— И когда же в последний раз?

— А по весне, как лед сошел, научник приплывал на моторке.

— Научник?

— Ну, это который всякую науку пишет про деревья или про траву, а еще про грибы бывает и про рыбу... А ты кто?

— Я Адам.

Как это вырвалось у меня, сам не знаю. Но придумка понравилась. Да, я — Адам, и это очень удобно. У Адама не может быть прошлого, только настоящее и будущее. Отлично придумано!

— Тот самый? — прошептал мальчуган, вытянув шею.

— Какой тот самый?

— Ну, который Бога не слушался... Мама читала...

— Ясненько! Нет, я не тот. Я другой, который слушался. Так меня зовут. А тебя?

— Вот здорово! — качал он головой и пялился на меня, как если бы я был Иван-царевичем или Змеем Горынычем.— А я Павлик!

— Надеюсь, уж точно не Морозов...

— Чего?

— Это я так... Имя у тебя отличное. А мама с папой...

— По сено пошли.— Он махнул в сторону неглубокого распадка, что угадывался промеж скал на другой стороне бухты.— А где твоя лодка?

— Я пришел по берегу.

Это сообщение его просто поразило, он даже присел и ручонками за голову схватился.

— По берегу! К нам еще никто по берегу не приходил! На вертолете прилетали, а по берегу... ничего себе! — Обошел меня вокруг.— И без ружья, да? Ничего себе! А чего же ты ел?

— Было кое-что с собой...

— Есть хочешь?

— Не отказался бы...

Схватил меня за руку и потащил к дому.

У крыльца о специальную железную скобу я добросовестно отскреб свои, в общем-то чистые сапоги. У порога еще протер их на коврике, и это произвело впечатление на гостеприимца. Прошли через большие сени с квадратными оконцами к входной двери, утепленной и обитой брезентом. Я не ошибся, изба из кедровых стволов. Но по берегу кедр мне не встречался, значит, доставлялся из прибрежной тайги, и дело, должно быть, было нелегкое, каждая бревешка чуть ли не в полметра диаметром...

Просторная кухня и большая комната перегорожены хорошо оструганными досками и русской печью, небеленной, но исключительно аккуратно обмазанной

коричневой глиной — впечатление почти шоколадная. Стол-самоделка, табуреты-самоделки, полки, подставки какие-то,— в кухне из мебели не увидел ничего цивилизованного, даже тряпки хозяйские были с остатками ручных вышиваний. В углу икона Спаса в старом киоте и лампадка на резной подставке. Все по программе! По собственной инициативе заглянул в комнату и разочаровался, надеясь увидеть самодельные варианты кроватей, комодов, сундуков или чего-либо подобного. Увы! Кровать еще более-менее антиквар сороковых, металлическая, сверкающая, с шишечками и завитушками, но шкаф, комод, этажерка, стулья — ужаснейший ширпотреб родного областного производства, и только скатерти, наволочки, занавески и опять же полочки, подставочки... Икона в углу. Одна. Никаких излишеств. Да еще цветы в горшках! И цветы такие и горшки такие я помнил с детства, когда была еще в моем детстве бабка, страстная любительница зеленых комнатных посадок. Тогда я знал названия каждого растения, ожидал их цветений и радовался вместе с бабушкой всякой завязи, а поливание цветов— это же был ритуал!

— Отгадай, где я живу! — потребовал Павлик.

А и верно, кровать одна. Я развел руками.

— Никто никогда не отгадывает!

Малыш подбежал к дальней стене комнаты и рывком отогнул узорчатый тряпичный ковер. Там оказалась дверца теремка, а за дверцей еще комната, настоящая «детская», если допустить, что таковые вообще когда-либо бывали в деревенских бревенчатых домах. Но меня больше заинтересовала деревянная панель рядом с дверцей. На ней висела тульская двустволка с поясным патронташем. Рядом еще мелкокалиберная пятизарядная винтовка и пара охотничьих ножей в кожаных кобурах. И это означало, что я попал к нормальным людям, без бзиков и предрассудков, со здоровым отношением к окружающему миру, берущим от мира необходимое для жизни и не злоупотребляющим щедростью источника, поскольку не присутствовали, как могло быть, на стенах шкуры, рога, головы и прочие трофеи...

— Хлеб с молоком будешь? — Это, наконец, он вспомнил, что я голоден. Мы вернулись на кухню.

— Хлеб-то откуда берете?

— Как откуда, из печки.

Он даже не представлял, сколько смысла было в его ответе. С трехлитровой банкой малыш справиться не мог, и я сам налил в кружку молоко. Кругляш хлеба приставил ребром к груди и отрезал ломоть, как это запомнилось из какого-то фильма. Потом еще налил и еще отрезал. Сытость расслабила тело, захотелось развалиться на чем-нибудь мягком и подремать беззаботно.

— А у нас еще комната есть,— отчего-то шепотом и интригующе сообщил Павлик.— Под другим ковром. Ни за что не угадаешь, чего там.

— Туалет? — предположил я.

— Уборные в доме не бывают! — обиделся он.— Там папкина ра-ци-я! Только он туда меня не пускает. Редко...

— Рация?

Ну, конечно, я же видел на крыше антенну, решил, что телевизор... Какой может быть телевизор, если на полках керосиновые лампы.

— Папка с мамкой три раза в день всякую погоду по рации передают, про ветер и еще осадки, это если дождь. Папка у меня называется ми-ти-ри-о-лог! Вот!

Слово он произнес так, будто оно означало, что его отец охотник на львов и носорогов. Курносенький, белоголовый, светлоглазый, он боялся потерять меня из виду. Отвернется, а я исчезну, а он потом никому не докажет, что я был. Успокоился, когда вышли на крыльцо и я разлегся прямо на ступеньках, сонливо щурясь на утреннее солнце. Шмели, кузнечики, птички, цветочки, что еще, ну да, Озеро слегка поухивает, неопределимые запахи природной парфюмерии, это, наверное, все те же цветочки сбоку у крыльца — синенькие колечки с наперсток,— Господи, вот благодать-то!

Щурился на солнце и — сплошная фантастика! Солнце смотрело! Ну да! Не освещало землю, впрочем, и освещало тоже, но притом узкий луч его был направлен прямо на меня, луч-взгляд, внимательный, спокойный и добрый. Скорее всего, конечно, мой перехват взгляда случаен, и я здесь ни при чем, ведь я мог быть здесь или не быть... Объект взгляда — место, несколько сотен квадратных метров между Озером с запада, скалами с севера и востока, а с юга не очень определенной чертой, где закончился мой путь сюда, возможно, тем самым камнем, из-за которого разглядывал свою обетованную землю.

Шизик в облачении, о чем он толковал мне? Что любая, произвольно выбранная точка бесконечного пространства имеет право претендовать на центр мироздания... Или может оказаться таковой при определенных условиях... А почему бы нет, в конце концов! Чем был Вифлеем две тысячи лет назад? Захудаленькой провинцией Римской империи. Задрипанное местечко, населенное варварами из варваров. Калигулы, катоны, нероны полагали, что вершат судьбу мира, а она вершилась Бог знает где, да еще Бог знает кем!

Если я так упорно пер на север, значит, был в том смысл, хотя бы по аналогии с раненым животным, что, истекая кровью, тащится к исцеляющему источнику, у которого ранее не бывал.

Я решил изменить образ жизни, чтобы избавить мою маму от страданий. Инстинкт, а может, и подсказка свыше, возможно даже — мамина подсказка, сверху ж виднее, привела меня в такое единственное место, где мне легче всего исполнить намерение. А вдруг оно, это место, как радиацией, заражено (или заряжено) благодатью? Могу я предположить существование таких особых зон, где некие добрые миазмы бактериями распространены в воздухе или воде, и, поглощая их, преобразуешься башкой!

Мальчишка, между тем, мне уже по второму разу рассказывал свою биографию. Он умеет ловить сорожку, собирать грибы и ягоды, умеет читать и рисовать всяких животных и лучше всех корову и собаку, умеет прятаться так, что даже папка не может его найти, ходит на лыжах, может грести веслами, если неshибкие волны, ему запросто развести костер или накопать хоть сто луковиц саранок, он не боится змей, ящериц, рыси, ос, клещей, а пауты, так хоть тыща его укуси, все равно не больно, и потому все лето в обрезанных штанах ходит, если только в лес не идти... Он не любит, когда лес горит, когда корова болеет, когда земля трясется, когда мамка плачет...

— И часто она плачет?

— Два раза уже! — отвечал шепотом, оглядываясь по сторонам.— Запрошлым летом папка в тайге терялся. А весной я терялся, а папка следы медведя нашел у самого сусека, а мамка думала, что меня медведь утащил, а я в сусеке заснул, а папка туда не заглянул,

пошел медведя искать. Я сам пришел, а мамка плакала, аж тряслась вся...

— Побила?

— Кого?

— Тебя...

— Зачем?

— С вами все ясно,— ответил я и хлопнул мальчишку по плечу. Он меня.

Мужчина и женщина, впряженные в волокушу, на два человеческих роста нагруженную сеном, появились из распадка.

Малыш сидел спиной к лесу и не видел, а я не торопился реагировать на появление блаженных хозяев благословенных мест. Лишь когда шорох полозьев волокуши стал слышимым, Павлик оглянулся, мячиком подпрыгнул на месте и кинулся навстречу родителям. Я же, лишь заняв более приличную позу, продолжал сидеть на крыльце, и как только стали различимы лица появившихся, сказал себе с тихим торжеством, что все правильно, что я там, где надо, что с этого момента можно уверенно отсчитывать время моей новой жизни. Бросив волокушу на середине поляны, они шли ко мне, точнее, мальчишка вел их за руки, то и дело вырываясь вперед, оглядываясь на них, недовольный, что они идут, а не бегут. Я неторопливо сошел с крыльца и ждал.

— Вот кто у нас! — провозгласил Павлик, ткнув мне пальцем в живот.— Ни за что не угадаете, как его зовут! А-дам!

— Правда, вас так зовут? — спросила женщина наиприятнейшим голосом. Пораженный ее красотой, нет, красота — шаблон, банальность... Пораженный светлоликостью ее — вот так именно! Я не сразу обрел дар речи, но, преодолев горловые судороги, пробормотал, что да, на это имя я намерен откликаться с некоторых пор... Ответ получился замысловатый, и возникла, было, пауза, но подал голос мужчина... Вот ведь тоже — моложе меня, но парнем я бы не назвал его, парень — это тот, кто в данный момент мельтешил между нами, заглядывая в глаза и дергая за руки всех поочередно. Отец же его был мужчина и даже не «молодой человек» — и эта распространенная кликуха особей мужского пола не подходила к нему. Высок, темно-рус, жилист, с усами и короткой курчавой бородкой, словно сошедший с экрана из фильма про русских молодцев, был он мужественен и прост, и сколько бы я ни напрягал свои извилины, никаких других слов не придумал бы и не вспомнил, потому что, возможно, лучших слов вообще не существует по отношению к людям такого типа, тем более, что тип этот в обычной жизни практически уже не встречается...

— В армии знал одного, он латыш был...

— Адам Смит, Адам Мицкевич...— начал я перечислять мировых адамов, но мальчишка, перебив меня, буквально завопил:

— Он пришел по берегу!

— Правда? — не скрывая удивления, спросил отец, но спохватился и, обняв за плечи жену, что была ему по плечо, сказал, даже будто извиняясь:

— Ксеня. А я Антон. Познакомились.

Господи, ежу понятно, что иначе, чем Ксенией, эта женщина называться не могла. Хотя если сам он отрекомендовался бы Русланом или Добрыней, я бы ничуть не удивился. Впрочем, Антон — это тоже что-то! С сыном же, по-моему, они все же дали промашку, и я еще придумаю ему подобающее имя. Тут как раз из-за крыльца выкатилась лайка, Павлик обхватил ее за шею и сообщил, что собаку зовут Джек. Безусловно, в том была большая честь для всяких разных англо-американцев — в благословеннейшем месте планеты другу человека присвоено имя, столь принятое среди народов, погрязших в цивилизации...

Я изъявил желание помочь завершить проблему сена, Павлик — открыть двери сеновала, Ксения — приготовить обед, Джек никаких желаний не изъявил и лишь одобрил наши снисходительным покачиванием закольцованного хвоста. Сеновал по типовой конструкции располагается над стайкой вторым этажом, куда вилами и нужно было закидать сено, надышавшись запахом которого я почувствовал себя сущим богатырем. И когда, высмотрев технологию заброса, воткнул свои вилы в копну, был безжалостно осмеян.

— Не подымешь! Не подымешь! — закричал и запрыгал вокруг меня мальчишка.

Я уже и сам понял, что замахнулся на невозможное, но, в сущности, именно невозможным был достаточно избалован за последнее время и, натужившись так, что потемнело в глазах, вознес над головой чуть ли не добрую треть копны. Малыш присел на землю от изумления. Два полных шага нужно было еще проделать с этим немыслимым грузом над головой, а затем зашвырнуть его на потолочное перекрытие. И я свершил это! Грыжа не выпала, пупок не развязался. Антон выдал одобряющий жест, но соревноваться со мной не стал и в несколько приемов закидал остатки сена. Потрясенный моим подвигом, Павлик сидел на земле и никак не мог справиться с отпавшей челюстью. Небрежно отряхиваясь от сенной пыли, я наслаждался своим триумфом, пока Антон, забравшись на сеновал по откидной лестнице, перебрасывал сено в глубину стайки.

Когда полчаса спустя после водных процедур сели за стол, возникло замешательство. Хозяева, причем все трое, смущенно закрутили головами, и лишь через паузу Ксения произнесла робко:

— Помолимся?

Икона оказалась именно за моей спиной. Торопливо разворачиваясь, чуть не опрокинул табуретку, пошумел в общем... Молитву прослушал, нервно припоминая, с какого плеча на какое кладется крест. Память руки оказалась крепче мозговой, и все, кажется, обошлось. Подан был грибной суп с черемшой, по старым моим понятиям — сочетание немыслимое. Но чего стоили здесь мои старые понятия!

— Тропа через Чертов мыс худая. Кто-то ее показал вам? — спросил Антон. Ну да, вспомнил, действительно, скальный участок берега так именовался. О тропах не слышал даже.

— Я берегом шел.

— Но там же скалы прямо в воду...

— По воде и шел.

Все трое перестали есть и уставились на меня.

— Это же километров десять...

— Сколько?

Теперь я чуть не выронил ложку.

— Нет, не может быть. Откуда же десять?

— Конечно, никто не мерял, но на моторе, считай, полчаса, больше, чем десять, однако...

Это была критическая минута. Усомнись они хоть в одном моем слове, и все пропало!

— Настроение было хорошее... Погода... На камень залезу, погреюсь и дальше... Показалось, не больше пяти... Бывает, наверное... Главное — настроение...

— Точно,— подтвердил Антон.— Сам сколько раз. Кажется, вышел и пришел. А солнце уже с другой стороны. Но здорово, что по берегу. Если от самого города, по прямой километров полтораста, а берегом верняком еще два десятка набежит.

Ложка не дрогнула в моей руке, но нутром похолодел. Машиной я преодолел менее четверти пути. На ногах, значит... О, Боже! И эти десять километров водой! Да когда же это я успел! И как я это смог! На всесоюзной карте наше Озеро величиной с тараканьего детеныша. На областной — с ивовый листок. А восточный берег и верно, словно пьяная рука вычерчивала. В пути же я был... Полных два дня, так получается... Сгинь!

Гостеприимцы же мои меж тем спокойно постукивали ложками, изредка лишь кидая на меня благожелательные взгляды. Потом ели жареную картошку со свежим луком. Огород, кстати, мне на глаза не попадался. Впрочем, за домом я видел дикий черемушник, а он перекрывал северную часть поляны. Там, наверное, и огород.

За чаем смородинного происхождения я скупо рассказывал, точнее, импровизировал на тему моей биографии. Вранье получилось скромным и правдоподобным, суть которого состояла из некой личной трагедии, служебных разочарований и решимости на лоне девственной природы привести в порядок расстроенные нервы разочарованной души, что означало мою готовность осчастливить их своим достаточно долгим присутствием. И они, все трое, взглядами и улыбками одобрили мое благородное намерение, и послетрапезная молитва, произнесенная Ксенией, звучала почти торжественно, тем более, что сам я теперь уже без малейшей оплошности вписался в их семейный ритуал.

— Благодарим Тя, еси Господи,— радостно ворковала очаровательнейшая хозяйка центра мироздания,— что насытил Ты нас земных Твоих благ, и не лиши Небесного Твоего Царствия!

— Аминь! — ахнули мы в четыре рта и еще добрую минуту улыбались друг другу. Крупнейшие радары мира зафиксировали странный звук, пришедший словно ниоткуда, похожий на вздох женщины... Я знал, кто это вздохнул облегченно на всю вселенную.

Из-за черемушника первым оглядом я не увидел не только огорода в двадцать соток, но и старого дома метеоролога и метеостанцию. Но как только я увидел дом, это когда повели меня осматривать владения, тотчас же решился и последний, третьестепенный вопрос крыши над головой. Ненужный нынешним хозяевам дом, тем не менее, содержался в порядке, то есть все было на месте: окна и двери открывались и закрывались, пол не проваливался, крыша не текла, печь топилась,— идеальное жилище для человека, не заслужившего даже землянки. Я сказал просто: «Возьмите меня в работники!» И когда сказал, их чуть кондрашка не хватила. Но объяснил кратко и вразумительно, что очень хочу пожить здесь, тунеядцем же быть не намерен, но честным трудом готов отрабатывать пропитание, коим, к сожалению, сам запастись не имел возможности по причине экстремальности ситуации. Иными словами, каждый день я должен получать конкретное задание с одним, безразлично каким выходным днем в неделю. Сам же обязуюсь освоить все виды трудовой деятельности, диктуемые местом пребывания. Сказано все было в таком ультимативном тоне, что любая форма несогласия или возражения исключалась. Антон, в конце концов, хлопнул меня по плечу и сказал, что прокормиться в этих местах запросто можно, если кое-что уметь и кое-что знать, что они так-то уж рады новому человеку, что им вообще везет, и за три года плохие люди сюда не приходили.

Подрастающее поколение тут же изъявило готовность научить меня всяким полезным делам или одному, по крайней мере,— ловить сорожку на древесного червя, а я пообещал во что бы то ни стало освоить...

Приведение моего будущего жилища «в божеский вид» превратилось в семейный праздник. Каждый внес лепту в благоустройство, и, разумеется, более других— Ксения. С истинным вдохновением она мыла, скребла, протирала все, имеющее хотя бы мало-мальские плоскости. На полу появились коврики, на окнах занавески, на подоконниках цветы. Антон подмазал печку, смастерил полочки для ламп, навесил умывальник, подтянул сетку кровати и даже смазал чем-то ее металлические сочленения, чтоб не скрипела. Сам я только крутился между ними в полной бесполезности и слегка устал от восхищений их гостеприимством и комментирований: отлично! здорово! высший класс! нет слов! Запас слов благодарности скоро иссяк, и я уже только разводил руками, прищелкивал языком, закатывал глаза и ахал. Чем больше ахал, тем больше им хотелось угодить мне, и я засомневался, существуют ли вообще пределы благоустройству. К счастью, подступил вечер, возникла идея ужина и оттянула на себя благоустроительные силы. На короткое время я был предоставлен самому себе, смог, наконец, отдышаться от суеты, поваляться на застеленной кровати и даже вздремнуть минут двадцать.

Разбужен был призывными возгласами отрока. Он вытребовал меня на улицу и продемонстрировал приготовленное для меня орудие лова уже известной сорожки — трехколенную удочку с катушкой и снастью — и настойчиво посоветовал именно завтра на утренней зорьке испробовать ее в деле. Заготовку наживки он по-деловому брал на себя.

После гостевой чарки разведенного спирта и превосходного ужина пошли с Антоном прошвырнуться по берегу. Озеро рядом затаенно шелестело, словно подслушивало нашу сумеречную беседу.

— В армии после отбоя,— рассказывал Антон,— засыпал под одно и то же: живу в горах, не один, конечно, кругом скалы и тайга, а у меня избушка у ручья, встаю рано, ложусь рано, веселая работа и жена веселая, какая будет, не знал, воображал только... Не верил, что найду такую, чтоб ушла со мной. Ксеня — первая, какую встретил. Такой и оказалась. Повезло, да?

— А почему обязательно в горы, в тайгу? Почему не в город?

— Не знаю. Что-то особенное хочу услышать, люди и машины всякие — они шумят, а смысла жизненного в шуме — просто крошки какие-то... Ну, это, может, и не главное. А воля? Это только в нашем государстве такое можно или в Америке еще? Чтоб хоть сто, хоть двести километров иди, и никто тебе не скажет, что нельзя...

Остановился, повернулся ко мне.

— Просто некому сказать!

И так хорошо захохотал, что и я каким-то образом подключился, но мой смех не был столь же хорош, потому что он только смеялся, а я еще и вслушивался в его смех и завидовал...

— Через сто лет так уже не будет... Но я и не хочу жить через сто, а ты?

— Два раза пожить — почему бы нет?

— Лучше один раз, но долго,— серьезно сказал Антон.— Так, чтоб устать и уйти, как на отдых... Только я не верю, что устану. Ведь на сто километров не хожу. Незачем. Все тут, да тут. Гадал, когда надоест видеть одно и то же вокруг. Через год? Через два? Три уже прошло — нормально! Ксеню спрашивал, отчего? Говорит — я «надоедку» потерял! У всех есть, а я потерял! Это, говорит, в душе такое устройство, как аппендицит, только вырезать нельзя. А потерять можно.

— А что с ее «надоедкой»? — вкрадчиво спросил я.

От моего вопроса он немного опешил, замешкался.

— А знаешь, я как-то и не спрашивал... Сегодня спрошу...

«Ох уж этот наш мужской эгоизм!» — подумал я, пряча в сумерках ухмылку. Решил копнуть глубже.

— А вера? Сам дошел или от Ксени?

— Совпадение. У нее родители верующие. В Тобольске живут. А я... Не знаю... Всегда жить нравилось. Думал обо всем этом. Читал немного... А когда Ксеня появилась, если честно говорить, это же почти чудо... Стал, знаешь, чувствовать, ну, вот будто есть все время кто-то за спиной, дышит в затылок... добрый, можно не оглядываться... Так что я больше спиной верю, чем головой! Смешно, да?

Мы дошли до того камня, из-за которого я подглядывал за своим будущим жизнеобиталищем. Почти стемнело.

— Посмотри,— сказал я,— вон туда, по руке смотри, видишь созвездие будто паук? А теперь левее— красная мерцающая... Говорят, недавно еще этой звезды не было...

— Откуда же взялась-то?

— Может, как раз наоборот, была всегда, а теперь ее не стало, взорвалась, гибель видим, все как у людей... Жил, не замечали, помер — оценили и слово сказали... Но вот один мой знакомый... он говорит, что эта звезда перед концом Света появилась...

— Это он тебе ночью сказал? Точно! Днем такого не скажешь. Днем этого света столько, что, ну, куда же он денется! Ночью нормально спать надо, так человеку положено. Ночь для мышей, для совы и еще всякого зверья, а для человека день. Держи режим, и с головой будет все в порядке. Не знаю, кто как, а я вот уже три года засыпаю, чтоб скорей проснуться и жить. Разве не правильно?

— Оптимизм — признак отсутствия информации...— пробормотал я, поворачиваясь к дому.

— Что? И верно, идти надо. Корове сена еще подброшу, да курятник проверю. Какой-то зверек повадился, по следам не разберусь. Похоже, не местный... Ты, случайно, в следах не волокешь?

— Откуда ж! — рассмеялся я.— Своих-то следов нигде не просекаю! Как будто всю жизнь по воздуху ходил.

— Слушай,— зашептал он,— у Ксени есть такая молитва... Вообще, я тебе скажу, мы думаем, что умные, а там про нас уже все сказано... А в молитве так: Господи! отыми от меня праздность духа, погубляющую время! Здорово, по-моему! А!

К своему дому я пробирался уже при лунном свете. На полочке над столом горела лампа. Рядом спички. На столе стакан молока. Залпом выпил. Парное. Не понравилось.

В доме было душно от протопленной печи. Сырость нежилого дома вышла из стен, пола и потолка и квасилась в воздухе, заполняя ноздри раздражающими запахами. На улице почти не замечал комаров, здесь же косился на них, роящихся вокруг лампы, как на врагов народа. Спать хотелось или не хотелось, не понять. Прошарился на крыльцо из двух ступенек, сел, как упал.

Темнота сожрала весь мир, оставив лишь тени от него и небо. Вспомнилось: праздность духа! Конечно, только праздному духу приятно общение с небом. Еще вспомнил ломоносовское: открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне — дна. Вот образец откровенно предметного, количественного отношения к миру! До хрена звезд и пространства, и да здравствую я, заметивший это! И не будем признаваться, что унижает нас, превращает в жалких козявок объем Божьего мира, что задрать башку хочется и завыть по-человечьи от обиды на ничтожество наше, поскольку воистину червь аз есьм, будь я хоть негром преклонных годов! Тысячу раз прав он, тутошний контролер погоды: ночь противопоказана человеку, ночью разум должен спать и бредить дневными впечатлениями.

Умываться не стал... Где он там, этот умывальник... Упал на кровать в одежде, даже куртки своей любимой и грязной не снял и заснул со стоном, именно так, слышал собственный стон словно со стороны и сильно-сильно пожалел себя.

Когда проснулся, в мире был свет, а в доме был отрок Павел, и он нагло тряс меня за плечо. Мысленно щелкнул его по лбу средним пальцем с оттяжкой, чтоб отстал, но он не отстал, а пристал еще упорнее, и я сдался.

— Один уйду,— пригрозил он, и я вспомнил про рыбалку.

— Натощак рыба не ловится,— проворчал я и заткнулся, увидев на столе ломоть хлеба, яйцо и кружку. Пока умывался и обливался водой, фыркая и ахая, он стоял рядом с полотенцем в руках. Когда перекусывал торопливо,— сидел напротив и пялился на меня. Только приподнялся из-за стола, он нахмурился и ткнул пальцем в направлении моего лба.

— Лоб-то перекрести, нехристь!

Я прямо-таки упал на стул.

— Ну ты дашь, парень!

Сменив гнев на милость, он популярно объяснил мне, что если не молиться, то можно и не умываться, особенно когда вода холодная, потому что душа тоже должна быть чистой, а не только тело, и что чем больше будешь думать о Боге, тем больше Он будет думать о тебе, а тогда о самом себе можно вообще не думать. Потрясенный и униженный праведностью сопляка, я кое-как воспроизвел с его подсказки послетрапезную молитву, заслужил одобрительный кивок и с видом посрамленной дворняги молчаливо выслушал инструкции относительно технологии отлова хитрой и смышленой рыбы сорожки.

Было пять утра, но, как я узнал из того же источника, корова уже подоена и отогнана «в траву», куры «общупаны» и которые без яйца, отпущены во двор, Ксеня сняла утренние показания приборов, а Антон именно в эту минуту передавал очередную сводку в город Читу, где, как уверил меня отрок, без папиной передачи «в погоде ничо понять не могут».

Утро было смурное. Небо и солнце над восточными скалами затянула сизая пленка. Павлик уверял, что это самая рыбалочная погода и что к полдню хмурь уйдет

и день будет солнечным и жарким, потому рыба и торопится до жары нажраться и пораньше смотаться в глубину, где ей прохладно. Но пока что прохладно было мне. Тропинкой прошли через полосу черемушника, а у крыльца хозяйского дома нас встретила сияющая, светлоликая Ксения. Я надеялся, что она хотя бы для приличия пожурит своего сыночка, что поднял меня «ни свет ни заря», что, мол, дяде отдохнуть и отоспаться надо бы, но ничего подобного. Наоборот, она радостно закивала головой и подтвердила, что погода клевая, и нам надо поторапливаться, и даже, как спалось, не спросила для приличия... Но зато на крыльце лежали два бушлата. Крохотный для мальчишки и не меньше пятьдесят четвертого размера— для меня. Я радостно занырнул в бушлат, сунул руки в карманы, запахнулся так, что лишь нос торчал из воротника, но чертов отрок тут же сунул мне в руки удочку и сумку, и я вынужден был принять вид лихого добывальщика пропитания.

Озеро не проявило никакого интереса к нашему появлению. Оно пребывало в абсолютном покое, и не хотелось нарушать его ни взмахом удочек, ни всплеском поплавков. Мерзкие, скользкие червяки выкручивались наизнанку и никак не хотели насаживаться на крючки, а крючков было целых три, и пока обрабатывал один, два других цеплялись за рукава и полы бушлата, приходилось выковыривать их из ваты, накалывая пальцы... Когда, наконец, закинул удочку, был основательно разъярен... К тому же громадная коряга, на которой мы устроились, чтобы поглубже закинуть, была скользкой от утренней росы, и, заняв относительно удобную позу, я всей душой надеялся, что мой поплавок никем не будет потревожен, и я смогу слегка подремать... Но увы! И пары минут не прошло, как мой напарник приглушенно взвизгнул и выдернул из воды серебристую ленту. Сумка, висевшая на моем боку, ожила и, должен признаться, оживила и меня, и я уже не столь равнодушно посматривал на свой поплавок. Еще несколько раз взвизгивал рыбачок с ноготок, и моя сумка приобрела вес. Я почувствовал, что начинаю нервничать и слегка раздражаться, как вдруг мой поплавок исчез. Инструкция предусматривала лишь подныривание поплавка и мгновенную реакцию на подсекание... А мой... попросту исчез... С перехваченным дыханием я кивнул в сторону моей лески, испрашивая разъяснений у специалиста.

— Зацеп,— сердито сказал Павлик.— Щас всю рыбу распугаешь. Давай уж тяни, что ли!

Я потянул. Удочка изогнулась и затрепыхалась в руках. Поднапрягся и... о чудо! На всех трех крючках у меня извивались рыбешки!

— Ничего себе! — закричал Павлик.— Тащи тихо! Сорвутся!

Бросив свою удочку на корягу, переполз ко мне, перехватил леску. Рыбы исполняли пляску смерти и в руки его трясущиеся не давались. Но до чего ж цепкие и тренированные были его крохотные пальчики! Справился. Равно пораженные случившимся, мы некоторое время сидели с ним на коряге друг против друга и ахали, и головами покачивали, и языками прищелкивали.

— У папки две попадались, но чтоб три! Здорово!

Из почтения к моей удаче он насадил наживку на мои крючки, на каждый плюнул добросовестно и дал команду на продолжение дела. Беспокоясь о его самолюбии, я небрежно заметил, что, мол, дуракам, то есть новичкам, им бывает, что везет. На что получил серьезный и спокойный ответ, что везет везучим, и если я везучий, то это для всех хорошо.

— Откуда знаешь? — спросил я, шокированный старческой рассудительностью этого шустрого эмбриона.

— Кому везет, того, значит, Бог любит. И надо не гордиться, а благодарить Бога...

Тут он снова нормально взвизгнул и выдернул из воды рыбку. А я, заняв прежнюю позу, углубился в размышления по поводу целесообразности религиозного воспитания детей в изолированной от общества обстановке, а если честно, то пытался осмыслить, отчего испытываю внутреннее сопротивление укладу семьи, во власти которой оказался. Сопротивление не было активным, и я как бы заранее знал, что уступлю и буду уступать по всем позициям. Но отчего речь шла об уступке, а не о добровольном и радостном вовлечении? Почему разумом голосуя «за», душой или инстинктом лениво упираюсь и капризничаю? Решил так: если добросовестно посмотреть на дело и если признать реальную причастность верующего человека к некой высшей истине, то все мои бултыхания справедливо могут быть определены комплексом неполноценности по отношению к истине. Тогда сопротивление— детская болезнь кривизны сознания. Но если религия, только умными людьми умно придуманная игра в правильную жизнь, то какие бы положительные феномены ни рождались игрой, как бы они ни преобразовывали жизнь в добром направлении,— в этом случае мое сопротивление есть не что иное, как справедливое нежелание играть в чужие игры, когда лишен возможности привнести в них нечто от собственной индивидуальности. Тогда-то именно и о правах человека можно поговорить, и приоритете личности над обществом и вообще над любой формальной структурой. О многом можно поговорить, и говорить хочется, и уйму интересного и оригинального можно высказать и поразить высказанным кого хочешь.

А тут тебе молочнозубый птенец тычет пальцем и приказывает: «Прекрести лоб, нехристь!» Тогда, спрашивается, зачем я Канта Иммануила с двумя «м» почитывал и о Пикассо с двумя «с» рассуждал с прищуром и придыханием?

Когда вернулись с рыбалки, возбужденные и довольные собой, Антона не застали, ушел, как было сказано, на деляну. Отрок тут же пояснил мне, что это такое место в лесу, где заготавливаются дрова на зиму. Я огорчился было, потому что жаждал приступить к обязанностям работника, но Ксения, восхищенная нашей рабацкой удачливостью, категорично объявила мой первый день пребывания нерабочим, заверила, что Антон тоже скоро вернется, и что вообще сегодня — баня.

Банный сруб, загнанный под общую крышу хозпостроек, как оказалось, был первым опытным сооружением Антона. Он установил его на месте ледяного подземного источника, очень гордился этой придумкой, хотя по неопытности наделал массу технических ошибок и на исправление их потратил потом времени больше, чем на сооружение сруба.

Во времена Порядка планировалось соорудить в этом благодатном месте туристическую базу. Понавезли строительного леса, сопутствующих материалов всяких — от оконных переплетов до дверных ручек, скоб и гвоздей. Деньги на идею были отпущены немалые... Деньги исчезли раньше, чем окончательно была

похерена идея... Собаки рвали дармовое мясо. Утробный рык хищников вздыбливал шерсть зависти у млекопитающей среды... И никому уже не было дела до бездорожных природных благодатей...

Антон со своей молодой женой, закончив годовые метеокурсы в Свердловске, получил, как и хотел, назначение в место, не знавшее ни Макара, ни телят. На рыбачьем баркасе пристал он к пустынным берегам (метеоролог, что был до него, сбежал, не увольняясь, двумя месяцами раньше) и объявился на берегу с женой, трехгодовалым сыном и тощей коровой, купленной за ничто у одной последней обитательницы вымершей деревни западного побережья Озера.

Ксения уверяла, что не было у них страха перед полчищем проблем обживания. Я тому не очень верил, потому что не мог представить себя на их месте. Правда, им немного повезло. В это же лето высадились на берегу два работоспособных мужика, по рассказу Ксении — сущие ангелы. Один с диссертацией про всякие лечебные травы, другой — про грибы. В один голос заверяли они Антона, что раньше, чем через десять лет, ничьи руки не дотянутся до тутошних мест, и уверениями подбили его на капитальное строительство. Этой командой и отгрохали, в сущности, за лето и осень форменную усадьбу, оговорив единственное условие сотрудничества — право приезжать в отпуска с семьями. Были мужики-научники форменными идеалистами, поскольку семей их Ксения с Антоном так и не увидели. Не до отпусков стало работягам-бюджетникам. По одному прилетали, приплывали,— удавалось вырваться на недельку. Жаловались, охали и улетали, уплывали. Через них обжились курами, запаслись кое-чем...

Ксения чистила рыбу и рассказывала, а я сидел тут же на крыльце, слушал и рассказ ее воспринимал как правдоподобную выдумку, сочиненную исключительно для того, чтобы объяснить необъяснимые причины моей личной удачи. Ведь я прибыл сюда на готовенькое. Словно кто-то заранее просчитал все ходы моей судьбы, обо всем заблаговременно побеспокоился и устроил все вот таким наипрекраснейшим образом. Я просто переполнялся благодарностью, жаждал немедленно приступить к компенсированию затрат и усилий всеми доступными мне способами, и вообще, какие-то великие, не имеющие названия чувства просились на волю из моей груди. Хотелось петь, или читать стихи, или обнимать кого-то крепко... Мой рыболовный инструктор к тому времени как раз покончил с распутыванием лески своей удочки (на последнем закидывании зацепил за куст) и появился у крыльца, а я вскочил, схватил его, подкинул вверх, поймал и давай кружиться с ним, вопия что-то невнятное, с трудом удерживаясь, чтобы не повредить его хрящики энергией объятий. Малыш сначала слегка испугался моего взбрыка, но потом обхватил за шею и зазвенел колокольчиком...

— Ну вот,— сказала Ксения, улыбаясь,— сразу видно, что вы человек семейного склада.

— Да откуда ему взяться, складу такому? — возразил я, отдышавшись, но не отпуская мальчишку с рук.— Мать умерла рано, отец сошел с орбиты. Женщины тоже не встретил такой, чтоб...

— Вот этому уж не поверю! — отмахнулась она.— Вы такой красивый мужчина...

И зарделась. Я же, отпустив Павлика, встал перед ней бревном.

— Я красивый?! Даже обидно, ей-Богу!

Она вдруг всполошилась, взглянула на часы, схватила тряпку, стала протирать руки.

— Чуть не просидела! Мне же надо сводку готовить. Хотите приборы наши посмотреть?

И затем в течение получаса, пока шли до метеоплощадки, пока она с блокнотом и карандашом крутилась вокруг приборов, все ворковала, ворковала, рассказывала про арумбометры, барографы, гигрометры, пихрометры, про паропилоты — это шары они такие запускали с Антоном в прошлом году, пока у них были запасы калия и серофилиция, из чего они делали в баллонах водород, заполняли им специальные шары и запускали в атмосферу, а теодолитом определяли направление, скорость ветров на разных высотах, еще зимой замеряли снежный покров для расчета запасов воды и в озере температуру и уровень... Что восемь раз в сутки надо сводку отправлять в Читу, и потом они с Антоном вдвоем не могут отлучаться куда-нибудь дольше, чем на три часа, что зарплату им вообще не платят, на книжку кладут, а при случае отправляют консервы, муку и сахар в аванс, и еще неизвестно, как они потом будут рассчитываться, потому что цены выросли, это им известно, а про зарплату ничего...

Возвращались чуть ли не бегом. В комнату, где рация, приглашения мне не последовало, и я предложил Павлику пойти встретить отца, что было принято с восторгом. Прокричав в раскрытую дверь о нашем намерении и, видимо, получив согласие, он вприпрыжку помчался в сторону распадка. Я потопал за ним.

Отчего-то заклинился на фразе о моей «красивости». Безусловно, это была чушь. Знаю, что не урод, но рядом с тем же Антоном — сущая дворняга. Отчего же, однако, не могу проглотить фразу, отчего не списывается она по разряду добрых комплиментов доброй женщины? Почему было бы лучше, если б она не прозвучала?

День меж тем разошелся вовсю, куртку свою бессменную из кожзаменителя я забросил на плечо, расстегнул рубашку уже даже не второй свежести и от сапог избавился бы с удовольствием, но напомнили о себе мелкие ранения ступней, что схлопотал, устанавливая рекорд по преодолению водных препятствий. Как только покинули зону приозерного сквозняка, объявились комары, пауты, осы. У мальчишки, похоже, был иммунитет к жужжащей сволочи, потому он прыгал впереди меня чистеньким, в то время, как я шел в ореоле кусающихся тварей, но принципиально не отмахивался, мазохистски констатируя каждый укус. Восхищенный собственным мужеством, уверился, что если продержусь пару километров, таежная нечисть отстанет и от меня, ибо вовсе не жажда крови движет комарами и паутами, но одна только пакостность их малоклеточной натуры, имеющая целью своей предельно досадить высокоорганизованному существу и удовлетворить тем самым потребность в самореабилитации... Эти мои превосходные соображения были прерваны явлением впереди по тропе полноправного хозяина окрестностей — именно таким предстал передо мной Антон — в солдатском кителе, перепоясанном патронташем, с десантным в ножнах кинжалом на поясе, с двустволкой за плечами. Герой дикого Севера (по аналогии с диким Западом!), он был не просто великолепен, он был потрясающе великолепен! Темно-русые волосы, утратившие порядок прически, придавали его облику удостоверенную опытом лихость, проверившую мир на прочность и знающую цену и миру и себе. Пружинистая походка тоже знакомая

по боевикам, не казалась нарочитой и даже не казалась приобретенной, хотя в домашних условиях я ее не замечал. И выражение лица — спокойное, уверенное и в то же время открытое нормальным человеческим чувствам, что немедленно подтвердилось, как только увидел нас, сначала сына, потом меня. Руки распахнулись приветствием, лицо улыбкой.

— Папка,— закричал малыш, подбегая к отцу,— ты не поверишь, Адам сразу на три крючка три сорожки поймал! Раз — и три сразу!

Лишь через мгновение вспомнив, кто такой Адам, я внутренне покривился от мысли, что вот, мол, еще одно простецкое подтверждение старой, как мир, истины относительно пророка и Отечества. Ему бы, попрыгунчику, остановиться, как вкопанному, перед героем-отцом, ткнуть в меня пальцем и спросить: «А ты можешь, как он?» А я бы тогда развел руками в пасе и заискивающе улыбнулся истинному образцу мужчины. Но не я, Антон смотрел на меня с доброй завистью и признавался, что, мол, две сразу — это бывало, а три — это здорово повезло, это надо, чтоб три рыбы одновременно подошли, одновременно взяли и дернули... С Павликом он еще продолжал обсуждать мою небывалую удачу, хотя уже и я и Павлик увидели за его спиной целую связку рябчиков, и рюкзак за спиной был плотно набит чем-то... Я, откровенно говоря, начал подозревать, не разыгрывают ли они меня видимостью серьезного разговора и не потешаются ли над моей невписанностью в реальность, ведь сам-то именно это и ощущал — иноприродность образу их жизни, неприспособленность к нему, и только лишь желание освоить, обучиться, стать равным, наконец, если это возможно.

Представил: придем сейчас домой, и жена даже не заметит охотничьей удачи мужа, а то и поворчит, что рябчики не должной зрелости и упитанности. Но или я оскудел воображением, или с людьми столкнулся непредсказуемыми, только все произошло иначе. Увидев мужа, Ксения от крыльца кинулась ему на шею, чем, похоже, озадачила и мужа и сына. На рябчиков всплеснула руками, ощупывала их восторженно, при этом кидая взгляды на меня, словно приглашая вместе повосхищаться и мужем и рябчиками. Я с удовольствием присоединился к ее восторгам, признав, что стрелять еще кое-когда случалось, но попадать — только в консервную банку не далее, чем за десять шагов, а уж о движущейся мишени и говорить не приходится. Мне показалось, что она осталась довольна моими признаниями и в течение какого-то времени словно забыла о моем существовании, помогая мужу избавиться от патронташа, ружья, рюкзака, и даже сапоги изготовилась помочь снять, но Антон пришел, наконец, в себя и, замечательно расхохотавшись, схватил ее за плечи и спросил напрямую:

— Ксюша, ты чего это сегодня шебутная такая?

И она тоже словно очнулась, сначала замерла, глядя в глаза мужа, затем приложилась своей статуэточной головкой к его груди и сказала:

— Переоденься. Пропотел весь. Хочешь, полью?

— Вот еще! — притворно возмутился Антон.— А Озеро на что. Мужики! Идем купаться! Потом топим баню! Паримся — купаемся — расслабляемся!

Мы бежали к Озеру. Первым, конечно, Павлик. Я замыкал. Оказалось, что бежим к лодке. На бегу Антон пояснил, что купаются они в глубине, там вода теплее, менее волнами переболтанная, понырять можно, а у берега мелковато, пока по грудь зайдешь, замерзнешь. Лодка была затащена на песок в микробухточке, возможно, искусственного происхождения и длинной цепью закреплена за валун. Сначала разделись до трусов, потом, избавившись от цепи, стаскивали лодку на воду. В лодкоплавании я более-менее толк знаю, потому напросился за весла. Смазанные уключины не скрипели, лодка-полушлюпка отлично скользила по воде. Если не считать мелкой синей ряби, что порой полосами пробегала поперек бухты, Озеро пребывало в покое от берега до берега. Не меньше сотни метров отгреб я в хорошем темпе, пока не получил команду Антона: «Хорош! Суши весла!»

— Я первый! — закричал Павлик, и я еще не успел толком закончить торможение и забросить весла, как он зайцем выпрыгнул из лодки и оглушил нас радостным визгом. Бог знает, какая там была глубина, но Антон тревоги не выказывал и, лишь приподнявшись, с одобряющей улыбкой наблюдал за бултыханием сына вдоль борта. Когда мальчишка с визгом и брызгами завершил круг и снова оказался у кормы, Антон единым, явно отработанным рывком выдернул его из воды и водворил на заднее сиденье. Чтоб у меня не осталось сомнений о его способностях, Павлик заверил, что запросто может три круга дать и сам в лодку залезть, и что на спине может, но только где мелко.

Антон, не вставая на кормовую доску, ящерицей выпрыгнул из лодки. Даже не раскачав ее и демонстрируя неплохой кроль, пошел на большой круг. Не столь блестяще, хотя и не дурно, я воспроизвел его способ ныряния, но в первые же секунды погружения был буквально ослеплен болью, пронзившей тело от затылка до пальцев ног. Я прыгнул не в воду, а на осколки стекла, или на канцелярские кнопки, или на семейство ежей,— я погрузился во враждебную мне среду, которая словно только и ждала, чтобы немедля наказать меня за вторжение. Не закричал я, вынырнув, только по причине паралича голосовых связок. Но хрип, в котором буквально задохнулся, привлек внимание Павлика, он свесился ко мне с борта, рискованно наклонив лодку и лишив возможности уцепиться за борт. Меня убивали? Глупая эта мысль сковала волю к сопротивлению, но я не погрузился, напротив, всем вопящим от боли телом почувствовал выталкивающую силу, вышвыривающую силу, и как оказался в лодке, не помнил и не понимал решительно.

— Судорога, да? Судорога? У меня тоже один раз... Надо ущипнуть, вот так... Пап! У Адама судорога!

Появился в лодке встревоженный Антон, а я позорно валялся на дне и никак не мог прийти в себя, хотя боль исчезла так же мгновенно, как объявилась.

— На сегодня все,— сказал Антон и сел за весла. Я с трудом заполз на кормовое сиденье. Осторожно опустил пальцы в воду. С водой было все в порядке, не теплей, не холодней, чем положено в это время. Ясно, дело было не в воде. Дело было в Озере,— мне будто кто-то подсказал такой нелепый вывод, я же подсказке сопротивлялся, предполагая упрямо, что, возможно, испытанное мною действительно есть судорога, ведь люди часто гибнут в подобных ситуациях, а если не гибнут, значит, имел место легкий случай, а мой легким не был, и лишь близость лодки...

Хитроумно устроена физическая природа человека,— она незлопамятна. Высаживаясь на берег, я уже не усматривал ничего зловещего в случившемся, кроме легкого конфуза, ведь в небе жарило солнце, под солнцем везде продолжалась жизнь, краски и запахи вокруг были наиприятнейшие, а люди рядом — наидо-

брейшие, и сам я, переполненный чистыми и прекрасными намерениями, органично вписан в гармонию конкретной микросреды и... да будет так!

В бане все было, как в бане. И после бани — как после бани. Преподнесенное мне чистое нижнее белье, правда, было слегка великовато и грубовато, а жареные рябчики отдавали дичинкой, но руки, творившие сие добро, заслуживали самых пылко-почтительных рыцарских поцелуев, и лишь внезапно объявившееся благоразумие удерживало меня весь вечер от поступков, способных без должной подготовки поразить милейших гостеприимцев разнообразием моих душевных качеств. И без того я весь вечер, как говорится, был на манеже. Мальчишке показал несколько простеньких фокусов и пообещал научить им. С Антоном достаточно грамотно пообщался на тему роли десантных войск в современных локальных войнах. Хозяйке же читал стихи, читал хорошо, не читал, а раскрывался тайнами...

Черты жемчужинками в море
Я для тебя искал, мечта.
Мне обошлась в громаду горя
Твоя последняя черта.
Ошибся раз — и стан твой гибок.
Ошибся два — и ты умна.
Ты из цепи моих ошибок
И заблуждений создана.

По традиции безалаберного бытия готов был продлить посиделки до бесконечности, до утра, по крайней мере, и не решились бы добрые люди осадить меня. Но кроме меня у них была еще и работа. Подошло время очередного осмотра метеоприборов и, соответственно, радирования результатов куда положено, и был я тактично прерван в своем вечернем вдохновении, но от вдохновения тем самым отнюдь не избавлен. Потому невозможно было просто пойти и опрокинуться на кровать. Словно заведенный на вертикальное существование, как ванька-встанька, не мог я, не поломавшись, упасть тональностью ниже, потому, испытывая потребность в продлении своего «взведенного» состояния, решил прошвырнуться по сумеркам и прохладам и постепенно подготовить себя к беспорочному соитию с Морфеем.

К Озеру отчего-то идти не захотел. Побрел к камню моего счастья, где уже был вчера с Антоном. Оттуда не просматривалось Озеро, но освещенные окна Жилища видны были прекрасно, и мне хотелось быть лицом к ним. Солнце уже завалилось за горизонт, но небо, накопившее свет, добросовестно делилось им с землей, и оттого на земле еще не было темноты, но только сумерки. Слабый сквознячок из распадка бодрил и трезвил одновременно. За полсотни шагов до камня увидел, что на нем кто-то есть. До конца не избавленный от жажды общения, ускорил шаг, но лишь подойдя вплотную, узнал человека, сидевшего ко мне спиной. Это был Петр. Чуть потеснив его, сел рядом. Петр был мрачен, и я не решался заговорить. Вот он словно очнулся, пошевелился, легко толкнул меня локтем в бок.

— Знаешь, я, кажется, нашел объяснение несоизмеримости человека и вселенной. В том ведь самое большое бревно на пути к вере, правда?

Я согласился с ним, тем более, что сам не раз пялился на небо в недоумении и раздражении.

— Чтобы получить такое качество, как Жизнь, нужно чудовищное количество материала и жуткое пространство для равновесия. Все, что видим за пределами живого и о чем догадываемся, это не просто отходы производства, как раньше думал, но и части механизма. Мы говорим — это Вселенная, как что-то вне нас, и неправильно. Оттого и не понимаем. О взаимосвязи планет мы догадались, а сами как бы остались в стороне, как наблюдатели... Неправильно. Все есть наш дом, для нас построенный. И когда мы уходим... Понимаешь, мы уходим из дома... И я думаю, куда мы уходим? К кому? Может, как ручьи в море? Ручей становится морем? Тогда «Я» должно исчезнуть. А что появится? «Мы»? Как в толпе? Тогда душа — осколок мирового разума? И почему мы так ценим свое осколочное состояние? Цепляемся за него? А уход рассматриваем как трагедию?

— Противоречишь,— заметил я.

— В чем?

— Если дом построен, то с какой-то целью. Не ради же его самого! Если я осколок, то для чего-то, а не просто так, чтобы потом слиться... Зачем тогда было разделяться на осколки?

Петр оживился, повернулся ко мне.

— Ага! Значит, тоже думал!

— Не помню...

— Тогда получается, что в роли осколка я что-то должен совершить, а вернувшись, привнести с собой в мировой разум, чего у него не было раньше? Но это противоречит главному положению всех религий, что Он — совершенен! И вообще, тогда я, как осколок, всего лишь инструмент Его эгоизма... Где же ошибка? В федоровский бред о всеобщем воскрешении я никогда не верил. На хрена, спрашивается, умирать, чтобы потом воскресать в виде обновленных осколков! Тавтология! Либо от части к целому, либо наоборот. Третьего не дано. Не бывает!

— Но там же полно еще всяких шифров...

— Например?

— Например, любовь. Бог любит человека. Человек должен любить Бога. В этом же тоже что-то запрятано...

Петр пожал плечами.

— По-моему, банально. Человек любит Бога, то есть высшее качество и стремится к нему. Возникает обратная связь. Образ воздействует на сознание. Это все уже было. Кажется, у Платона. Я же хочу знать — зачем я был! Элементарно! Имею право?

— Почему был? — тихо возразил я.— Ты есть...

— Оставь! Все, может быть, проще и суровее. Страшно подумать! Что если, как вселенная — условие для жизни, так и миллиарды людей — условие для отдельных, для единиц, которые действительно что-то свершают?! Единицы! А все остальные — только отходы производства! Но тогда-то я, понимаешь, я же знаю, что не свершал ничего! Это я стопроцентно знаю. Тогда я точно — в отход...

— Кончай...

— Нет! Надо честно следовать логике. Ведь возможно, что эти Единицы появляются раз в сто лет. Раз в пятьсот лет! В тысячу. И тогда даже шанса нет, чтобы присмотреться, догадаться, КТО, и стать рядом хотя бы. Как в тумане... Может, наше с тобой время — сплошные отходы. А может, наоборот, этот кто-то был рядом, на расстоянии шага, а я не узнал, потому что обречен на вторичность...

— Если бы был рядом, ты узнал бы... — возразил я и поморщился от собственной неискренности. Между им и мной возникала, возрастала стена пусто-

ты, которую видел и чувствовал только я, а он лишь бился об нее головой. Я же был не честен с ним, потому что имел очень странную информацию как раз о себе, но поделиться ею с Петром не мог, хотя бы потому, что сам лениво закинул ее за плечи и оставил на потом... А ведь не зря, не случайно завязался весь этот разговор!

— Ты вот про любовь заикнулся,— продолжал Петр устало,— да, конечно, догадываюсь, что есть в этом что-то многозначное, в слове именно, в шифре. Умом догадываюсь. Но во мне-то нет ничего похожего даже! Досада одна. Разве я виноват, если любви нет, а досады — хоть выблевывай!

— Ну чего ты порешь! — возмутился я.— И мать ты не любишь, да? И Юльку? И я для тебя прохожий?

— Ты-то при чем! — взорвался Петр, вскочил. Лица его я не видел, потому что темнота воцарилась полная, видел только нависшую надо мной фигуру его.

— Ты!

Замер вдруг. И была странная пауза. Потом Петр развернулся и быстро пошел прочь. Так быстро, что в темноте растворился через мгновение. Шаги его я еще некоторое время слышал, но скоро полная темнота соединилась с полной тишиной, и соединением этим отделился я от всего живого и неживого и то ли вознесся куда-то, то ли провалился, но из мира выбыл или вышел. Были только я и камень, который выщупывал руками, чтобы не потерять равновесия, чтобы не обмереть от страха перед пустотой...

Потом было медленное возвращение. Крик ночной птицы, шорох Озера и шорох ветра в дальних зарослях, мое порывистое дыхание, наконец. Затем была возвращена и возможность движения. Поднялся с камня, оглянулся. Там, где жилище,— темно. Люди спали. В небе не было луны. И хорошо. Я не хотел свидетелей. До своего дома добирался ощупью не менее получаса. Руками выщупал ступеньки, дверь, стол в комнате, спички на столе. И лишь когда лепесток желтого пламени сформировался в дрожащее сердечко, аккуратно водрузил над светильником стеклянный саркофаг. Сел за стол. Голову на руки. Смотрел на огонь или в огонь, словно хотел постичь тайну горения. В действительности — не хотел. Я хотел жалеть Петра. Но вот этого как раз и не мог. Не жалелся он. Никак! Совсем другие чувства просились к свободе. Например, очевидное мое преимущество перед Петром. В отличие от него я знал любовь, причем в самом таинственном значении этого слова-шифра. Петр перемудрил, в то время, как тайна любви в бескорыстии, только и всего! С первого моего шага на Север всю свою жизнь я подчинил любви к маме. В подчинении не было насилия, но не было и корысти. Я ушел от прежней жизни радостно и свободно. Пусть некоторые точки, что я расставил над прошлым, были похожи на кляксы, но они там и остались — в прошлом. Ничто из брошенного мною за мной по следу не бежало. Бескорыстие мое подтверждалось еще и тем, что я сознавал: мама моя — вовсе не пуп земли, и при желании можно было бы отыскать более значимые цели посвящения жизни.

Оказавшись в другом мире, я искренно и, опять же, бескорыстно полюбил людей этого мира, хотя это несколько иной уровень любви, да и любить их легко, скорее даже, их невозможно не любить, поскольку они сами переполнены любовью, и остается только отвечать взаимностью. В итоге я, одержимый любовью-жалостью к одному близкому человеку, оказался в мире или пусть даже в мирке любви всех ко всем. И провалиться мне, если я в этом смысле не оказался Избранным...

Однако последнее, мысленно произнесенное слово вздернуло меня на ноги, и я затопал туда-сюда, искоса поглядывая на взволновавшееся сердечко в ламповом стекле.

Тот психопат в облачении, с ним не чисто и не ясно... Его бред имел смысл, вот только должен ли я докапываться до смысла? Разве он не сказал, иди и жди? То есть живи, как живется, а остальное приложится. Но что оно — остальное? Может быть, прорыв моей мамы ко мне и действия мои в этой связи подвинули меня на какой-то иной уровень, который я не могу постичь по причине, как говорил Петр, «осколочного» характера моего сознания? Тогда действительно остается только плыть по течению, чего проще!

Я понял, что мне совершенно необходимо снова «увидеть» маму, чтобы убедиться, что все правильно, все хорошо, что, главное, ей хорошо...

Мамы в эту ночь я «не увидел». Зато приснилась Надежда. Как бывает во сне, у нас с ней что-то происходило или не происходило, я любил ее или вроде не любил, мы что-то выясняли мелочное, пустяковое, но была похоть, это я помнил, когда проснулся.

Уже третий день вкалывал, как проклятый, на деляне. Про проклятость — это я уж так, для красного словца, потому что в действительности все наоборот: не знал и не предполагал, что физическая усталость может восприниматься как счастье. Срабатывал ли фактор «свободного труда», когда знаешь, что делаешь и для чего, настроение ли тому причина, только работником я оказался на славу.

В начале лета посетивший эти места научник прихватил с собой по заказу Антона пилу «Дружба», и Антон на радостях навалил сушняка на две зимы, навалил и нарезал на чурки, но повытаскивать на деляну не успел. Первый день я этим и занимался. Стаскивал чурки со всей округи, иногда с расстояния до полукилометра. С утра до сумерек шарился по буреломам и завалам, но, похоже, повытаскивал все, хотя и сам Антон не мог сказать, сколько и чего накромсал он в те дни, пока бензин не кончился.

Потом я занялся превращением сосновых, березовых, кедровых чурок в дрова-поленья. Откуда-то из Закарпатья, где служил в десантниках, вывез Антон идею топора с удлиненным топорищем. Здесь реализовал ее и утверждал, что величина траектории падающего топора прямо пропорциональна силе удара и обратно пропорциональна силе приложения. Дело нехитрое, и опыт у меня был, но пока приноровился к длинному топорищу, изрядно крутил руки и плечи. Освоил, однако ж, и к вечеру намахался до темноты в глазах.

Общие заботы были на совете распределены разумно. В то время, как я был назначен на дровозаготовки, Антон с Ксенией пробавлялись сетями. На совместную работу им отпускалось не более двух с половиной часов, и за один заход они едва успевали добраться на лодке до рыбообильных отмелей и поставить сети. Вторым заходом в той же спешке затащить сети с уловом в лодку, и только потом, после очередного сеанса передачи сводки, рыба, успевшая основательно позапутаться в сетях, уже на берегу выковыривалась из ячеек и сразу же обрабатывалась: чистилась, просаливалась и укладывалась в объемистый погреб-подполье, затоваренное льдом еще с зимы.

Ревизия продуктовых запасов диктовала необходимость поездки на «материк», и вечером в сарае в подсветке двух ламп Антон приводил в рабочую готовность казенный мотор «Вихрь», которым пользовался только в исключительных случаях, подобных нынешнему, по причине бензинового лимита. Объем предстоящих закупок, точнее, возможная стоимость их, привела меня в смущение, и я торопливо начал импровизировать по поводу возможных займов, если Антон возьмет меня с собой, но и займы и мое участие были безоговорочно отвергнуты, а из потаенных углов Жилища были извлечены на свет две шкурки соболя...

Я чувствовал себя паразитом и дармоедом, и оттого утром следующего дня поднялся вообще с рассветом и, наскоро перекусив, потопал на деляну с твердыми намерениями утереть нос всяким гераклам с их прославленными подвигами.

С девятиголовой гидрой я покончил еще до того, как солнце выпуталось из сосновых сплетений на восточном склоне. Из немейского льва я настрогал поленницу почти в собственный рост. Передохнув самую малость и окунув физиономию в ручей, что сочился сквозь камни у края деляны, принялся за кентавров и управился с недоделками до наступления полуденной жары. Какого-то быка-психопата я укротил походя, но результатами своего труда так обложился к тому времени, что ни ногой ступить, ни топором размахнуться. Пришлось приступать к расчистке конюшен, и это была неинтересная работа, потому что имела много правил. В частности, по указаниям Антона, поленница должна стоять, как говорится, мордой к ветру, спиной к дождю, она должна быть достаточно высока и устойчива. Были мне сообщены и некоторые хитрости, обеспечивающие качество выполнения работы, половину из которых я, конечно же, позабыл, и, приступая к этому делу, вынужден был самоуверенно убеждать себя в природных способностях, кои упредят возможные ошибки и промахи.

Для богатыря, каковым я был с этого утра, работа, конечно, была унизительной, но учитывая, что, в отличие от Геракла, я не имел дело с вонью, и дрова, простите, это все же не дерьмо, я справедливо полагал, что мне опять крупно повезло, что мне просто надо переквалифицироваться в масона и озадачиться построением храма-поленницы, и если это дело выгорит и храм простоит и не обрушится до зимы, то пришедшему посему случаю Антихристу я, обернувшись взад Гераклом, запросто обломаю рога, чем блистательно и завершу цикл исторических подвигов...

Праздный треп с самим собой был внезапно прерван появлением Ксении с корзинкой в руке и с восторгами на лице, которые выразить она толком и не успела, потому что на вершине дровяного завала появился шустрый ее детеныш, и вопль восхищения содеянным мною огласил окрестности так, что окрестности просто обязаны были содрогнуться. Сам выбравшись из завала поленьев, я с видом скромного труженика подошел и встал рядом с Ксенией и в скромности устоять не смог, поскольку был воистину шокирован объемом проделанной работы.

— Ну зачем же вы так...— робко пролепетала Ксения, а я, как и подобает, не обратил внимание и деловито спросил:

— До дому-то потом на чем доставлять дрова будем?

— На волокуше,— отвечала она,— зимой по снегу это легко, здесь же все время под горку. Полдороги сами едут, еще и притормаживать приходится. Проголодались?

Всерьез раздосадованный тем, что не сообразил сам, тем более, что уже видел в работе это нехитрое приспособление для безлошадников, крикнул для порядка Павлику:

— Эй, слезай давай, пока ноги себе не переломал!— И, не надеясь на исполнение, сам стащил его с завала. Когда стаскивал, он обнял меня за шею, прижался и прошептал, что ему без меня скучно, что он бы и сам пришел на деляну, но одного его не пускают, а он хочет... Я благодарно тиснул его и хотел опустить на землю, но он еще сильнее прильнул ко мне и затих... Отчего-то это встревожило меня, оглянулся на Ксению. Она распаковывала корзину. Вынула кастрюлю, обмотанную шерстяным платком, потрогала.

— Щи. Еще теплые. Пожалуйста... А ты отцепись!— это она Павлику.— Дядя Адам вон сколько дров нарубил, а ушел-то на голодный желудок, да? — Это уже мне.— С приборами возилась, не заметила, когда встали... А может, на сегодня хватит? А то завтра спины не разогнете...

— Конечно, хватит! — взвопил мальчишка.— Папка никогда столько не нарублял!

Уже привычно перекрестясь, хотя и без молитвы, я накинулся на щи с геракловым азартом. Мать и сын сидели рядом на траве и смотрели мне в рот. По мере насыщения и физического роздыха ко мне как бы стали возвращаться нормальные человеческие чувства, или, по крайней мере, одно из них — восхищение сидящей передо мной женщиной. Где же это,— думал я, поглядывая на Ксению,— и в каких семьях рождаются и вырастают такие вот чудесницы? Красавица? Не скажешь. Но прекрасная! И отчего-то это не одно и то же. Красавице можно, положим, подмигнуть, и плевать на реакцию. А этой руку поцеловать хочется, а потом пойти куда-нибудь и где-нибудь какой-нибудь подвиг совершить и к ногам ее кинуть-бросить, небрежно заметив, дескать, вот шел мимо, увидел, совершил. Может, пригодится на что-то? И ведь, в сущности,— простоволоса, никаких тебе соболиных бровей вразлет, правда, есть в лице нечто от породы, но что это такое — порода? Классицизм черт? А кто эту классику определил? Не Господь же! Но уверен, пройди она по улице, что лопух, что бабник затасканный — заметят, оглянутся, встревожатся. Явление!..

Похоже, я насытился пищей по потребности, потому что, как говорится, и оглянуться не успел, как мои мысли о Ксении стали сползать с восторженно-торжественного уровня на уровни, скажем, несколько иного порядка, и эта гнусная диверсия моей физики возмутила меня и оскорбила, словно пребывало во мне два сознания, и лишь одно из них я мог контролировать, другое же, демонстрируя суверенитет, сколачивало в моем мозгу фракцию из гадких мыслей и желаний. Далеко, впрочем, дело не зашло. Мне всего лишь захотелось коснуться рукой ее лица, но я ж не новичок и не лопух, мне известна логика прикосновений. Пронаблюдав, как рука моя вкрадчиво положила ложку и, подрагивая, замерла над ней, сказал, разумеется, мысленно: «Смотри, сука, отрублю!» И представил, как кидаю руку похоти на чурку, в другой руке топор, хрясь! — и отрубленная кисть корчится пальцами на траве в судорогах раскаяния. В конце концов, я царь или не царь! То-то! Фракция вытекла из мозгов туда, откуда вылупилась. Восторжествовавшая чистота по-

мыслов вскинула меня на ноги и провозгласила: «Все! Спасибо! Гудок зовет на подвиг. Приду до комаров».

— Может, все-таки хватит на сегодня? — робко спросила Ксения. И отрок вторил ей пискляво:

— Дядя Адам, пойдем домой, а? Покупаемся...

— Делу — время, потехе — час,— сказал я назидательно. И содрогнулся при мысли о купании...

Личико ее светлоокое погрустнело, а светлоокость задержалась взглядом на моем лице чуть дольше должного. Оттого, что не успел бдительно прищуриться, заслон выставить, что-то переплеснулось из ее глаз в мои и проникло в душу, и душа застонала, застонала... И средство неизвестно... Душа — не желудок. Не выблюешь! Еще продолжал демонстрировать жажду мускулов покорять природу чурок и поленьев, но как только мать с сыном исчезли в просвете тропы, соломенным матрасом рухнул на траву и давай кататься по ней, ну, что конь перед дождем... Накатался вдоволь, уткнулся лицом в траву и лежал без чувств и мыслей с одним лишь сознанием присутствия в мире. Угорев от травяного дурмана, приподнял голову и увидел в паре метров от себя изящно сверкающие женские сапоги, черные с блестящей металлической окантовкой и темно-золотистой шнуровкой по бокам. Медленно поднимал глаза. Ноги... коленки... выше... С дыханием непорядок... Но, слава Богу, юбка замшевая, нет, всего лишь юбчонка. Лежи я метром ближе, глаз не поднять... Широкий пояс с готической бляхой, зеленая блузка с демократическим распахом на груди... Грудь — вызов... Шея... Темные волосы, счесанные на плечи. И, наконец, лицо! И это не кто-нибудь! Это Надежда! Это моя вчерашняя Татьяна Ларина!

— Ты что, сдурела! — зарычал я, поднимаясь.— Ты на кого похожа!

Довольная произведенным впечатлением, Надежда проковыляла вокруг меня той похабной походкой манекенщицы, какой ни одна нормальная женщина отродясь не ходит, разве, если только не спрячет между ног что-нибудь ценное, чего ей никак нельзя обронить. А накрашена! Губы как у вампира, только что оторвавшегося от шеи младенца. Вокруг глаз темнота, будто три ночи не спала, гвардейскую дивизию обслуживала, и скулы красные — об небритых мужиков терлась! Чисто уродина!

— Говори,— потребовала,— похожа я на так называемую женщину легкого поведения!

— Вылитая шлюха,— добросовестно подтвердил я.— Та, которую ты когда-то играла, просто монашка в сравнении...

— Ты был прав. Та пьеса — туфта. Только теперь поняла, когда настоящую роль получила. Мы ничего не знаем об этих женщинах. Ничего! Там драма длиною в жизнь. Понимаешь?

— Еще бы!

— Не понимаешь. А вот он...

— Кто?

— Автор новой пьесы! Интереснейший мужик! Не чета вам, циникам и потребителям.

— А он что, импотент?

— Почему?

— Не потребляет? Или гомик?

Посмотрела на меня с сожалением и превосходством.

— Между прочим, принято считать, что общение с природой облагораживает. Но, видимо, бывают и исключения. Да? Но все равно! Мне поговорить надо. Знаешь, я, кажется, нашла нерв, то подсознательное и нереализованное, доминанту, что ли... Там по сюжету героиня встречает того, кого искала всю жизнь. Но поздно. Предпоследний клиент заражает ее спидом...

— Ужас!

— Ну, подожди!

Найдя место, села на траву. Я пристроился рядом.

— Она понимает это, как возмездие, но как несправедливое. И бунтует... Такой монолог! Карамазовский! Знаешь, если после него я не увижу в первых рядах слезы, я брошу театр. Я решила! Но я сумею, правда? Я сказала Роману, или зал будет плакать, или я разревусь на сцене от отчаяния.

— А Роман — это и есть...

Смутилась, но подбородок вздернула.

— Да. Автор. Из Москвы. Там его знают все. Он выбрал наш театр. И если хочешь, да, он мне нравится, и очень может быть, что у меня все переменится. Ты же не злой? Ты хочешь мне добра?

— Хочу.

— Тогда пожелай...

— Желаю.

Она потянулась чмокнуть меня в щеку, я отшатнулся от ее кровавых губ. Не обиделась. Отмахнулась.

— Между прочим,— сказал я,— это весьма симптоматично, что советские драматурги вспахивают сейчас целину темы проституции, насколько знаю, твой Роман не первый... Психологически им должна быть очень близка эта тема именно в профессиональном смысле...

Покосилась на меня.

— Хочешь какую-то гадость сказать?

Я только плечами пожал.

— По-моему, я ее уже сказал. Раньше мы понимали друг друга с полуслова.

Повернулась ко мне, и мы долго молча смотрели друг другу в глаза.

— Ты такой умный, да? Тогда скажи, почему мне хочется ударить тебя? За все, за все!

— Ударь. И будешь права.

— Пусть лучше это сделает какая-нибудь другая. Следующая... Пусть и за себя и за меня... Ладно?

— Вот и пообщались,— сказал я, поднимаясь.— Работы сегодня уже точно не будет.

В завале поленьев отыскал свою рубашку, надел навыпуск. Прибрал топор в нужное место, осмотрелся. Самый занудный гераклов подвиг переносился на завтра. И правильно. Растянем удовольствие! Проходя, сказал, не поворачиваясь: «Бывай!» У края поляны оглянулся. Надежда все так же сидела на траве, но вслед мне не смотрела. Когда с тропы оглянулся, ее уже не увидел.

ГЛАВА 7

Услышанное звучало так: «Число есть тайна и смысл. Смысл и тайна числа в полноте его. Изыми от числа ничтожную часть, и другого числа не возникнет, а лишь разрушится прежнее, и исчезнет тайный смысл его, как будто не было вовсе». Едва ли я понял...

Снилась темнота и горький, горький плач в темноте. У плача было стереофоническое звучание. Он был как бы со всех сторон. Плачем заполненная темнота разрывала мои глаза. Как и прежде, своего присутствия где-либо я не ощущал, только глаза... Ими я воспринимал плач, ими же пытался разорвать темноту, но тщетно. Я знал, что плачет мама, но не хотел признавать этого, и так упрямо не хотел, что даже не

сочувствовал и не сопереживал и лишь упрямо пожирал глазами темноту неубывающую и неприбывающую... Пропитанная, пронизанная плачем темнота получала способность к сопротивлению, глаза не выдерживали его и обретали боль...

Я не понимал, я не мог примириться с несправедливостью, я хотел кричать и возмущаться, но глаза не умеют этого делать, когда они слепы. Жажда крика была сама по себе, а глаза сами по себе скреблись о толщу темноты, озвученной безысходным плачем. Причем, это не были рыдания. В рыданиях есть интонация, по ней можно о чем-то догадаться. Рыдания близки к истерике, их можно переждать... Но плач, тем более, когда он везде! — это невыносимо! Я возжаждал немедленно проснуться и проснулся, а глаза мои оказались в слезах.

Я определенно решил, что это был сон. Обычный сон, и к прежним моим сно-видениям он никакого отношения не имеет, не может иметь, потому что у мамы нет причины для слез, но масса причин для радости, и рано или поздно, может быть, даже следующей ночью я увижу ее такой, какая она обязательно должна быть с момента моей новой жизни и моего нового рождения.

Однако здравые рассуждения лишь частично властны над настроением. И было настроение этим утром испорчено и помрачнено маетой души, понимающей мир по-своему, по-женски интуитивно, да еще со склонностью к капризу... Дух — другое дело. Дух — мужчина. Душа — женщина...

Такое сопоставление показалось мне весьма перспективным, я дал себе слово при случае подумать об этом с напряжением и, глядишь, почти отвлекся, как оттолкнулся от впечатлений ночи.

Этим утром Антон отправлялся на лодке за продуктами «на материк». Я, как всегда, слегка запоздал с подъемом. Заботливая Ксения и в этот раз сумела бесшумно пробраться в мои апартаменты и выставить на столе завтрак. Но из открытого окна со стороны Озера уже слышался рев «Вихря», и я, торопливо плеснув в лицо холодной воды, поспешил к Озеру, на ходу зажевывая неслыханной вкусноты свежеиспеченную лепешку.

Антон гонял лодку по кругу, проверяя мотор на разных режимах. Озеро было неспокойно, а небо подернуто мутной пленкой, и я нечисто порадовался, что не мне плыть... Но за Антона не беспокоился, потому что для Озера он был свой, в том легко было убедиться, наглядевшись, как он управляет лодкой и как управляется с волнами. Лодка под его командой вообще казалась равноприродной Озеру, неспособной вступить в противоречие со средой движения... Одним словом, я любовался Антоном...

Вот он с крутого виража на скорости нацелился на крохотную бухточку-стоянку и вошел в нее изящно, вовремя погасив скорость и выключив мотор.

— Порядок! — сказал он и поощрительно похлопал мотор по бензобаку.

— Похоже, погода портится?

— Не серьезно,— отвечал Антон, даже не взглянув на небо.— Ведь я кто? Метеоролог! Про погоду я все знаю.

— Приборы не ошибаются?

— Кроме приборов еще уйма чего в природе есть! Мы тут такие приметы заприметили, что никакому научному объяснению не поддаются. Спроси Ксению, расскажет. А сегодня к обеду будет дождик нешибкий, и ночью небо слегка посопливится, а завтра будет солнечно и прохладно. Вот и проверь!

Когда вернулись домой, Антон провел меня в комнату к стенду с ружьями.

— Кое-где жимолость поспела, ягодники могут объявиться, к ним иногда всякая шелупонь прибивается, так что имей в виду, «тулка» заряжена, в «тозовке» только патрон дослать. Давай уж, смотри тут. Я за три года первый раз спокойно поеду. А то раньше, пока до дому доберусь, всю морду исцарапаю, это у меня нервное, чуть что — лоб начинает чесаться, такая придурь!

Появился сонный Павлик, хныкнул было, чтоб отец с собой взял, но вразумлен был в несколько слов, дескать, дядя Адам человек здесь новый, не все знает, и без него, шустрого и догадливого, никак дяде Адаму не управиться. Я же только руками развел, выказывая полную беспомощность и абсолютную нужду в помощнике и советчике.

В глазах Ксении тревога. Меня это даже настороживо. Подумал, может быть, они разошлись во мнениях о погоде. Спросил. Погода ее не волновала. Но суетливость — этого раньше за ней не замечал. И морщинки меж бровей... И руки все норовят лишний раз прикоснуться к Антону. Коснется его и на мгновение застывает, умолкает на полуслове. Антон взял ее за локти, наклонился.

— Ну, ты чего? Послезавтра к вечеру буду дома. А может, раньше.

— Конечно! — ответила как очнулась.— Список не потеряй. С деньгами осторожней, в автобусах такие ловкачи...

— Ну да! А я лопух неотесанный, так что ли?

Тут мы все дружно рассмеялись, и Антон громче всех, потому что достоверно знал, что не лопух. Я же все более убеждался, что судьба свела меня с уникальным по нынешним временам человеком. Что в сущности есть наши слова? Одежда! Я могу, к примеру, напялить на себя пиджак с плечами в косую сажень и на кого-то произвести впечатление. Но разденусь — и разоблачен. И слова, что произносим, тоже часто всего лишь — косметика сути, оттого и рекомендовано по делам судить. Антон в этом смысле исключителен, о нем можно судить по его словам, да еще с допуском положительного коэффициента, и не потому, что он скромен, вовсе нет, просто он не знает настоящей своей цены, и его слово о себе неэквивалентно...

Прощание на берегу не было долгим. Подошло время утренней обработки метеоданных, и Ксения спешила на площадку. На берегу не стояла, платком не махала, лишь перекрестила торопливо водяную борозду с ревом уносящейся лодки. Антон еще и за мыс не успел уйти, а мы трое уже топали от берега.

Хмурь на небе сгущалась, и мир вокруг серел на глазах. Заметил, что в таких случаях первыми цвет теряют хвойные: сосна, ель, листвяк, если не считать Озера, оно сереет первым. Дольше прочих держатся молодые березы. Чистую зелень их листьев в такую именно пору и замечает глаз, особенно, когда первые капли дождя глянцем раскатываются по ним и высвечивают каждый в отдельности так отчетливо, что хочется пересчитать их и число непременно записать где-то среди прочих важных и нужных для человека сведений о жизни. Ведь даже цветы иные в хмурую погоду теряют яркость, синий, к примеру,— за пять шагов можешь и не заметить тот же колокольчик или ирис. Желтые и красные цветы тоже блекнут, а бор-

довая саранка вообще теряется в разнотравье. И чтоб не потеряться самому, так важно опереться глазом на что-то упрямое не из упрямства, а по неведенью, по неумению приспосабливаться, по незнанию нужды выживания. Просто выживать — в этом есть что-то недостойное... Коварен язык! Чтобы выжить самому, надо выжить кого-то? Выживать или жить вопреки? А вопреки? Что за слово? Откуда взялось? В упреке? Жить в упреке? Нет, это тоже плохо. Жить поперек? И того хуже. Жизнь не должна быть противостоянием, принципиально ей ничто не противостоит, даже смерть, потому что она — не конец, и мама моя доказала мне это.

— Вы же говорили, что ваша мама умерла?

Боже мой! Оказывается, я проборматывал все это, сидя на ограде метеоплощадки. Ксения, к счастью, только последнюю фразу услышала. Делая последние заметки в журнале, она подошла ко мне, участливо взглянула в глаза.

— Я своим раз в полгода пишу и стараюсь не думать о них часто. Как подумаешь, что может случиться, хотя они у меня еще не старые, но все равно, как подумаешь, хоть вой. Потому я вас очень хорошо понимаю. Это ужасно — потерять родителей. Пусть далеко, но где-то... И вдруг нигде! Страшно! Вот ведь и муж у меня, семья в общем, а без них все равно стану сиротой... Вы очень любили ее, да?

Участливость ее достигала опасного предела, я увидел это по руке, робко протянувшейся ко мне. Отшатнулся, но только мысленно, и потому рука ее достала мой локоть, коснулась, и я почувствовал, что ранен, что поврежден, что мне срочно нужна помощь рассудка и воли, и она пришла, эта помощь из резерва, именуемого цинизмом.

— Жалость — это подаяние. Благодарю за копеечку!

Но провалиться мне, если я не переиграл. Не дрогнула ни рукой, ни глазом. Рука ее с локтя моего сползла к кисти, а кисть предательски вывернулась ладонью, и ладони наши вспыхнули. Она лишь опустила глаза и тихо высвободилась. Отвернулась.

— Мне кажется, что я все про вас знаю. Нет?

— Нет. Но про меня и не нужно ничего знать. Со мной все в порядке... Мне у вас нравится...

Нужно было срочно отступать. Причем, не показывая спины. Захотелось взять в спокойные ладони ее слегка порозовевшее личико, поцеловать в лоб и сказать с достоинством старца: «Иди и живи с миром, красивая! Не искушай айсберг теплом семейного камина. Жалобно прошипишь и погаснешь!» Но когда первые капли дождя упали на мое лицо, то, ей-Богу, зашипели... Ксения, сунув журнал регистрации под кофту, крикнула озорно: «Бежим!» И мы побежали к дому. К моему, понятно, он был ближе. Что-то подобное я точно видел в кино, только там это было естественней, потому что по сценарному замыслу исполнялся настоящий ливень. Здесь же были налицо лишь первые совсем некрупные капли дождя, и не было нужды бежать, да еще так быстро... Уверен, что она тоже видела этот фильм... Вторая часть сценария не состоялась вовсе, поскольку, когда, запыхавшись, вскочили на ступеньки моего крыльца, были совершенно сухими, дождевая вода не сбегала по нашим лицам, не нужно было отжимать подол платья, тем более, что она была в брюках, а рубашка, если и прилипала к моему телу, так только от пота. Чуть было не затянулось противоестественное наше стояние друг против друга, но находчивость—разве не моя черта!

— Антон говорил, что вы тут всякие погодные приметы освоили...

Раньше нужно было произнести имя, потому что Ксения мгновенно очнулась, и улыбка, осветившая ее светлое лицо, мне уже не предназначалась.

— Да! Это как чудо! Антон первый заметил. Вот, например, видите скалу, нет, не из этих, дальше в распадке, и сосны на вершине, видите? Так вот если перед закатом там висит маленькая черная тучка, а небо пусть все чистое-пречистое, с утра начнется дождь, и будет он почти без перерывов не меньше двух суток. А барометр может ничего не показывать. Необъяснимо! Или вот с курами, я же с ними вожусь, заметил Антон! Вечером прихожу, это зимой, а они все скучились в левой части курятника, вы же видели, курятник большой, мы хотели двадцать штук завести... А тут они все в левом углу, и петух в середине. И что думаете? Ночью обязательно усилится мороз. Что в кучке, это еще понятно, но почему всегда только в одном месте? Ой, да много всего такого интересного! Антон вообще...

Детским озорством вспыхнули глаза, когда прошептала:

— Антон вам свое хобби не показывал?

— Нет.

— Хотите посмотреть?

— Конечно.

Почему-то мы снова побежали. Теперь к их дому. Когда пересекали полосу черемушника, тогда только слегка подмокли головами и плечами, но все равно вызвали законное удивление Павлика, идущего нам навстречу. Он посмотрел на небо, на нас и сказал деловито:

— Если папка поехал, значит, сильного дождя не будет, потому что, если сильный, он лодку зальет, и она потонет. Папка-то выплывет, а лодка?

— Лодку не зальет, потому что сильного дождя не будет,— успокоила его Ксения.— Пойдем с нами. Я кое-что дяде Адаму покажу, а ты папке не рассказывай, а то он сердиться будет.

Присутствие между нами Павлика оказалось подарком моменту. Сама она поняла это или нет, не знаю, но рада была определенно, иначе зачем бы дважды останавливаться и тискать сына... Павлик стеснялся ласк ее и капризничал.

Мы зашли в дровянник, в котором я уже бывал не однажды, или, по крайней мере, заглядывал в него. Двухметровая поленница, как оказалось, перекрывала внутреннюю часть сарая, где, к моему удивлению, обнаружилась настоящая мастерская, и, конечно, первое, что бросилось в глаза,— полуметровая деревянная статуэтка.

— Это мама! — торжественно провозгласил Павлик, но мог бы и промолчать. У Антона был талант, и я даже поежился от неожиданности открытия. Всеми прочими способностями Антона я восхищался искренно и бескорыстно, то есть без зависти. Мы же не завидуем обонянию собаки или зрению кошки. У них свое, у нас свое. Теперь же был не просто уязвлен и обескуражен, но всей мощью самолюбия узрел посягательство на нечто исключительно мне принадлежащее, чем я будто бы просто еще не успел должным образом распорядиться. Злая, гадкая ревность стекла с моих губ.

— Очень даже неплохо...

— Правда? — радостно откликнулась Ксения.— Ой, знаете, я не могу смотреть, как он делает! Сначала

просто полено, а потом из полена начинает вылезать голова... Или рука... Я не могу смотреть, дрожь появляется где-то под сердцем. Смешно? Но что-то же есть тут... Перекреститься хочется... Я глупая? А вот посмотрите!

Она отодвинула в сторону лист фанеры, и я обмер. Не меньше десятка статуэток разной величины — и все это была Ксения. И ни одного повтора... Ксения сидела, шла, стояла, лежала почти что в позе гойевской махи... Но одна из этих... Я подошел и взял в руки. Здесь Ксения сидела на корточках и рассматривала что-то... Так она могла сидеть у грядки или у воды...

Это был шедевр. Я не хотел верить, что передо мной произведение рук недавнего десантника, выпускника годичных метеокурсов... Он что, с неба свалился, этот парень? Откуда он может знать пластику жеста? Кто мог ему объяснить, что достаточно ковырнуть дерево особым образом в нужном месте, и жест оживет и лицо оживет, фигура получит движение и энергию, что вообще исчезнет материал и возникнет иное, с материалом не сопрягаемое?.. Невозможно! И потом какими инструментами ему удается воспроизвести тонкость черт лица, гибкость руки, изящество пальцев? Я хотел видеть набор его инструментов, словно тем разоблачилась бы его неискушенность в сфере искусства... Ксения подслушала мои намерения.

— А вот, Адам, его главный фокус. Смотрите, чем он все это делает!

В картонной коробке из-под вермишели лежали рядышком четыре маленьких топорика разной конфигурации. И все! Я взял один из них в руки.

— Осторожно! — предупредила она.— Сама видела, как он им брился. Чуть в обморок не упала.

— Жутко острый! — подтвердил Павлик и аж напрягся весь, когда я пальцем коснулся острия.— А я боюсь, когда он поправляет. Я тогда кричу ему: «Не стругай маму!» А он только смеется.

Рассматривая фигурки, каждую в отдельности, я сделал еще одно оскорбительное для себя открытие. Антон знает и понимает о Ксении такое, о чем мне никогда б не догадаться, не подскажи он мне своими самодельными топориками. И даже подсказанное все равно останется для меня непонятым до конца, потому что его знание — знание сердца, а мое понимание — всего лишь тренированность ума.

За моей спиной Ксения вскрикнула, засуетилась. Оказалось, чуть не пропустила время радирования. Павлик выскочил за ней, и я остался один на один с Антоном и его любовью к своей жене. А точнее, я остался один на один с болью, что поселилась во мне где-то между горлом и желудком и грозила прожорливым червяком выгрызть и поглотить мерзким нутром атом за атомом весь резерв моего оптимизма и благорасположенности к миру, в котором оказался. Мог ли я позволить...

Я начал рассуждать! Я всегда любил этим заниматься, знал толк и имел опыт. Теперь пришло время использовать опыт в самозащите. Канва рассуждений выстраивалась в соответствии с им присущей логикой, когда все начинается хладнокровным упреждением досады.

Как интеллигент, то есть человек, подготовленный образованием к творчеству, я не состоялся. Во мне не отыскались таланты к частному. Ни художнического, ни писательского, ни музыкального, ни даже технически-импровизационного даров. Не отыскались, потому что попросту не были заложены природой. Иными словами, я человек, лишенный страсти. Плохо это или хорошо? Как посмотреть. А посмотреть можно по-разному. К примеру, так, что человек, лишенный страстей, подлинно свободен. Кому неизвестно, что прибуксовывается к таланту! Зависть, соперничество, жажда признания, злоба современников, хмель зазнайства. Талантливый человек — раб своего таланта. Чем больше талант, тем крепче рабство. И вот я от всего этого свободен, моя жизнь цельнее и полнокровнее хотя бы уже тем, что я понимаю свое преимущество перед всеми, кто погряз в соперничестве с человечеством за свое место под солнцем. В каком-то смысле я счастливый дикарь. И, возможно, именно по этой причине со мной произошло то, чего ни с кем не случалось: я получил шанс прервать одну, всего лишь одну, но конкретную цепь зла и страдания. И мне известен прецедент подобного избранничества в истории. Авраам и его народ только потому и оказались Богоизбранными, что были на момент истории самым безобразно диким племенем, не зараженным никакой культурной традицией, их свободный дикий разум был открыт к восприятию факта существования высшей истины, которую постичь они так и не сумели, но послужили проводником Божественной воли в мир. Вот и я! Почему бы нет? Пусть мое дело — пылинка в космосе. Но зато какова! Иными словами, я более особенен, чем любой талант, который всегда можно поставить в строчку с ему подобными.

В мастерскую Антона я вошел одним человеком, а вышел другим. Оставалось только разобраться с моим отношением к Ксении. Бесспорно, по мирским меркам Антон, как личность, на целый порядок выше меня в силу присутствия в нем настоящего творческого импульса и отсутствия такового у меня. По этим же мирским законам тяга Ксении ко мне (а таковая налицо!) говорит не в ее пользу. Поскольку об испорченности речи быть не может, то может быть речь только о ее — увы! — глупости, порока для женщины не столь уж тяжкого, в известных случаях даже милого, но всегда весьма опасного. Но возможно и другое. Возможно, чистотой сердца своего чувствует она то особенное, что подкинула мне судьба в биографию, и тянется теперь, как дикарка к дикарю. Оттого быть мне трижды бдительным, тем более, что, чего греха таить, дикарка воистину прекрасна, взгляда ее прямого мне минуты не выдержать, прикосновения — секунды, и если качнусь однажды легкомысленно навстречу, быть космической беде, именно таковой и не менее.

Трезвость и здравомыслие суждений выпрямили мою спину, и таким вот — прямоспинным — шествовал я по двору под мелким дождиком...

К вечеру похолодало, и Ксения решила протопить печи. Она решила, а я охотно исполнял. Затопил у них и у себя. Бегал от дома к дому, ворошил, подкидывал, ощупывал печные плоскости и радовался быстрому проникновению тепла в кирпичную кладку. Иногда останавливался между домами и любовался работой дымоходов. Что говорить, дым из трубы над крышей дома — это всегда как-то по-особому приятно, тихая, утробная радость переполняет душу, хочется по-кошачьи ластиться к кому-то и мурлыкать и оценить бытовой уют по действительному достоинству его.

Когда на улице уже совсем стемнело, мы все трое сидели на опрокинутых табуретках около раскрытой печи и в красно-синих углях пекли картошку. Лампу не зажигали, и романтический полумрак жилища за-

косноязычил наши речи до примитивнейших реплик и восклицаний, особенно когда очередная вытащенная из печи картошка перебрасывалась по ладоням — то-то визгу было и воплей нечленораздельных,— кому удавалось удержать ее, раскаленную, тот и съедал на зависть остальным, и если б не благородная доброта отрока, мне б ничего не досталось, не умел, как они, перебрасывать из ладошки в ладошку, непременно ронял... Все перемазались, зажгли лампу, по очереди сунулись физиономиями в зеркало и хохотали до упаду — чумазые, усатые, довольные, сытые. Потом умывались, по очереди поливая с крыльца на руки уже почти в полной темноте, бежали в избу, смотрелись в зеркало, в общем, просуетились еще с полчаса, а когда стало ясно, что мероприятие закончено и что мне надо уходить куда-то к себе, тоска петлей обвилась вокруг горла. Павлик прощально завис на моей шее, и я обнял его крепко, как своего, сердцем чувствовал биение его сердчишка, и этот взаимный перестук взволновал меня необъяснимо... А рядом стояла светловолосая нимфа и улыбалась мне... И от нее я тоже должен был уйти в темноту, туда, где никого, кроме меня, не будет... Что-то такое прочитала она в моих глазах, засуетилась, протянула руки, чтоб забрать Павлика, и не без труда оторвала его от меня. Им же от меня и загородилась в смятении и тревоге. Это теперь уже я прочитал в ее глазах. Развернулся и выбежал вон.

Темнота черной тряпкой хлестнула по глазам и обмоталась вокруг головы. Ни малейшего просвета или свечения. Спичек в кармане тоже не оказалось. Выставив вперед руки, ногами выщупывая тропу, пробирался я к своему дому. Черемушник преодолел в полусогнутом состоянии, опасаясь нарваться лицом на ветку, и поклялся завтра же с топором пройтись по этому месту и полностью обезопасить его для подобных ситуаций.

Со стороны моего дома слышались какие-то странные, ни на что не похожие звуки. Я замер, вслушиваясь. Потребовалось время, чтобы понять, что звуки — человеческие, и что в них не таится опасность. К крыльцу, однако, почти что подкрадывался, и когда, судя по звукам опять же, был уже шагах в пяти, понял, что на моем крыльце кто-то тщетно пытается справиться с рыданиями, что там попросу кто-то плачет. Тогда сознательно шумно сделал несколько шагов и спросил — потребовал: «Кто здесь?!»

Сначала был шорох, затем чиркнула спичка и осветила чье-то лицо. Чтобы опознать его, подошел вплотную и наклонился.

— Я это.

Ну да. Это был он. Вася. На его грязном лице от глаз к щекам и губам пролегали полосы от слез, а одна, последняя, еще висела на скуле и целое мгновение светилась потом, когда погасла спичка.

— Почему ты ее бросил? — спросил он зло.

— Я не бросил. Я ушел, потому что уже поздно... Ты о чем?

— Мне это невозможно видеть! Кругом жизнь: а она одна стоит мертвая, фарами в землю! Ты обманул меня!

— Про машину, что ли?

— Ты предатель! Тебя расстрелять мало!

— Заткнись! Машина — это металл.

— А ты кто?

— А я человек.

— Ты тоже — молекулы!

Я нащупал его плечо, сжал.

— Вася, ерунда это все. Мне нужно было идти дальше. Дорога кончилась. Не на себе же мне ее тащить... Кто-нибудь ее найдет обязательно! Начнется ягодный сезон, люди попрут, а в ней еще полбака бензина...

— Ты тупой! — стряхнул мою руку с плеча.— Я душу в нее вложил и тебе передал, а ты бросил! Душа умерла! Я же видел, я видел! Она больше никогда не будет живой! Сука ты... Через тебя все мертвые...

И он зарыдал, издавая такие нелепые звуки, какие и не предположить за человеческим горлом. Не подозревал я ранее в нем способности к подобным чувствам, потому не на шутку сконфузился.

— Давай-ка в дом! — попросил я.— Посидим...

— Пошел ты! — заорал он.— Пошел ты, гад!

И даже ступеньки крыльца сотряслись подо мной, когда он сорвался...

— Сука! Гад! — крикнул он теперь уже из темноты. Эхо вопля заглушило шаги, и показалось, что он не убежал, а улетел по воздуху.

Лампу зажигать не стал. Прокрался на кровать, рухнул и шептал одно и то же: «Мама, ты же знаешь, все ради тебя! Оно все стоит того, чтоб ради тебя... Ничего другого во мне нет, все пустотой оказалось, только ты... Я справлюсь. Верь! Ради тебя со всем справлюсь... Ради тебя...»

Утром ушел на покос. Как и предсказывал Антон, день начинался солнечно и прохладно. Для сушки сена самое то, как говорил Павлик. Тропа, что вела на деляну, через километр раздваивалась, и левая тропка еще через километр выползала на небольшое болотце, где между кочек, кустов и полугнилых берез накашивал Антон сено для коровы. Перед вчерашним дождем было собрано оно в две остроконечные копешки и перекрыто кусками рваной толи. Нужно было заново раскидать его по выкошенному пространству и по мере высыхания ворошить и переворачивать.

За час раскидал все. Еще у меня было задание набрать моховиков, что росли прямо на обочинах тропы. Ксения хотела к возвращению Антона приготовить грибной подлив. Пакет я закидал грибами еще до слияния двух тропок, но далее не прошел и сотни метров, как навстречу по тропе выметнулся наш пес Джек, а еще через минуту показалась Ксения с двустволкой за плечами. Увидев меня, заторопилась, и я поспешил ей навстречу. Оказалось, что пропала корова. Такое случалось и ранее, когда по причине прохлады и восточного сквозняка исчезали комары и пауты. Когда этой нечисти полно, корова обычно держалась открытых мест и практически всегда была на виду... Ксения торопливо объясняла мне все это, нервно поглядывая на часы. Ничто не могло быть причиной опоздания с метеосводкой.

— Иди к южным скалам,— советовала Ксения,— там сырые места, трава хорошая. Как до них дойдешь, начинай прочесывать с юга на север петлями... Сколько раз хотели с Антоном ботало достать, ну, колокольчик на шею... Некуда ей особенно деваться, а заблудиться может. Джек с тобой пойдет, если залает так, ну, радостно, что ли, догадаешься, значит, нашел. Сам только не заблудись. Южные скалы желтые, северные серые... Да по солнцу... Ружье на всякий случай...

Снова взглянула на часы.

— Побегу! Времени совсем ничего...

И побежала. Собака кинулась было за ней, но я свистнул, и Джек послушно вернулся к моим ногам.

Что ж, это была вполне мужская работа. А ружье за плечами — так славно! Рука на ремне, как при деле

непустяшном, и тяжесть ружья квалифицирует шаг, придает ему особый смысл, а я, безусловно, найду этот бродячий комбинат по переработке дикорастущих, эка невидаль!

С тропы шагнул, как в неизвестное. За все время своего пребывания здесь — впервые. До того все по тропкам топал. Два десятка шагов — и тайга. Вокруг все одно и то же, сплошная мешанина из сосен, листвяков, осин. Слева завал, справа завал — очень некультурный лес, но это и есть тайга, а не лес. Пни, муравейники, камни, между камнями провалы-ловушки, как две осины — так паутиновая сеть, не всегда увидишь ее, и тут же облепит лицо, ослепит, зло и брезгливо высвобождаешься и ногой проваливаешься в мховую ловушку — в общем, работа!

Через каждую сотню метров останавливался и высматривал вершины южных скал, они почти отовсюду просматривались и были действительно желтыми. Скорее всего по прихоти освещения... Закрученный хвост лайки мелькал меж травы и камней, и получалось, что это собака спешит к южным скалам, а я лишь следую за ней... Выводок рябчиков взметнулся справа, сердчишко мое занырнуло в желудок, а рука скинула ружье с плеча. Парочка рябчиков уселась на сухих ветках листвяка в пределах видимости, и был велик соблазн опробовать двустволку. Но всего два патрона, что в стволах... Не для пернатых было передано мне оружие, но «на всякий случай», и здесь случай был явно не тот.

Уверенность моего шага рождала странные мысли, которые словно наплывали со стороны или выныривали из подсознания, так что я толком не успевал их пере-осмыслить, упорядочить и оценить... Человек с ружьем... Мужчина с ружьем... С оружием! Извечное призвание... Оружие — продолжение мужчины... Мужчина — истребитель себе подобных... Или не подобных... Регулятор численности... Ассенизатор человечества... А в войнах... лучшие ли погибают? Может, наиболее агрессивные? Разумного оправдания войнам нет и никогда не было, потому что задним числом всегда виден вариант компромисса, но только задним... Кровопускание когда-то было чуть ли не единственным медицинским средством... Выпускалась дурная кровь, что препятствовала обновлению, застаивалась в артериях... И вон ее! Разумная потеря крови— прием оздоровления... Был кто-то первый, кто додумался до такого... И он, безусловно,— был циник, ведь кровь — ценность... Но взял нечто острое, воткнул в живую ткань, просадил вену и не ужаснулся красной струе, а сказал: «Выпускаю кровь, и это хорошо!» И если человечество — организм, подверженный застою, то войны... Кажется, что-то подобное я уже читал или слышал. Или всегда знал, и лишь потребовалось ощутить прикосновение оружия к плечу, к плоти, чтобы дух оружия проник в нервы и оживил мертвым грузом таившийся в подсознании инстинкт мужчины, призванного всегда быть готовым к величайшему медицинскому действу — коррекции числа...

Через час примерно я достиг южных скал. Они впечатляли. Они походили на пачку средневековых замков, стащенных в одно место и заброшенных, одичавших, притворившихся скалами. Они перекрывали солнце, и в тени их тайга обретала жуть, способную заставить ежиться, оглядываться, вздрагивать от всякого звука и шороха и даже слегка вспотеть ладони на плоскости ружейного ремня. От скал я сделал полсотни шагов к западу, то есть к Озеру и потопал в обратном направлении к тропе. Такими зигзагами намеревался прочесать все пространство между южными скалами и берегом, но уже на третьем заходе почувствовал, что задачка эта не для моих нетренированных ног, и лишь из упрямства и самолюбия, насилуя всю свою физическую природу, шагал и шагал, через три часа уже не веря ни в какую корову, будто бы где-то в этих древесно-каменных кружевах поджидающую меня. Четырехногая крючкохвостая тварь с англосаксонским именем нагло демонстрировала мне свое превосходство, обегая меня, бредущего, кругами, унижающе сочувствуя, поджидала, пока я переползу через завал камней или деревьев, и, убедившись, что я еще на ходу, уносилась вперед или в сторону, или просто мгновенно исчезала, как проваливалась. По мере того, как выдыхался, свирепели мысли. Корова в моем сознании превращалась в этакое тупое уродище, общение с которым унижает человека, превращает его в раба, а человек не должен быть рабом, но только господином, и от всего порабощающего обязан освобождаться... Поклялся, что не прикоснусь более к молоку... Но как про молоко вспомнил, пить захотелось нестерпимо, казалось, бидон выпил бы и не поперхнулся...

Что темнеет, понял не сразу. Но как только понял, сказал себе, что видал корову в гробу, тотчас же воспрял духом и с новыми силами рванул напрямую к Озеру, очень надеясь, что подлая корова нашла проход в скалах, а за скалами ее сожрал медведь. Суровый кинокадр выстраивался перед глазами: тупое жвачное бредет по тайге в поисках, где бы еще пожрать и пожевать, поперек ее тупости — хозяин тайги, вздыбившийся на задние лапы, взмах лапы, и в мертвых коровьих глазах вечная тоска о недожеванном! Вот так! Не будешь по тайге шляться, грязнохвостая!

В сумерках потерялся ориентир — южные скалы. Шел на прохладу. Взбирался на камень и лицом угадывал направление сквозняка. Дело это было ненадежное, и уже почти полностью стемнело, когда наконец вышел в долину. Ноги — что протезы. Собачка, еще недавно шустрая, теперь тоже вяло плелась рядом. Но вдруг сорвалась и с лаем метнулась вперед. Я уже видел огни дома, и кроме них не видел ничего и видеть не хотел. А через десяток шагов наткнулся на корову. Сдержанно, но со страстью высказал ей все, что о ней думаю, ткнул в зад стволом ружья и такими периодическими тычками гнал подлую до самого крыльца, на котором тут же, жужжа механическим фонариком, появилась Ксения. Луч фонаря, лишь скользнув по коровьей спине, вонзился в мои глаза, я заслонился ладонью, и в то же мгновение Ксения повисла у меня на шее. Это было такое крепкое объятие, что я зашатался.

— Прости, пожалуйста! Прости, ради Бога! — шептала она мне в ухо, сразу же и промокшее от ее слез.— Надо же быть такой дуре, послать тебя... вся извелась... Прости, пожалуйста! Господи, уже все передумала! Да пропади она пропадом, эта корова!

Грохотнула сенная дверь, вскрик раздался, и теперь на мне висел еще и Павлик. Он не мог говорить! Он рыдал. Я шатался под тяжестью их необъяснимой и незаслуженной любви ко мне. Я обнимал и целовал их по очереди и без... Павлик оторвался от меня, кинулся к корове, закричал:

— А ну, пошла в стайку, гадина! Пошла, говорю!

И лишь когда он снова вцепился в мой локоть, я осознал, что целую Ксению... в губы... целую, как... О

Боже! И она! Попытался отстраниться и почувствовал сопротивление. Ее грудь...

Павлик дергал меня за локоть.

— Дядя Адамчик, мама тут по поляне бегала, из тозовки стреляла, только тозовка тихо стреляет, в лесу не услышишь. А корову ты где нашел, гадину?..

Пока Ксения суетилась с ужином, я сидел за столом, упираясь взглядом в солонку, и пытался осознать, что именно произошло минутами раньше. Смущенной Ксения не казалась. На нее взглянуть, так ничего и не произошло. Вся сияет, светится радостью! Отчего, спрашивается? Оттого, что за столом в ее доме вместо мужа сидит чужой, посторонний человек, о котором она ничего не знает, кроме дурацкого выдуманного имени?

Когда ел, не давился только по причине голода. Ксения сидела напротив за столом и, подперев подбородок руками, неотрывно смотрела на меня. Так иногда смотрела на меня мама, но мама при этом могла думать о своем, а если обо мне, то, помню, всегда уверен был в таких случаях, что прикидывает она мою судьбу или отца вспоминает, на которого я был похож более, чем на нее. Но о чем может думать Ксения? Взгляд ее чист, беспорочен, но я откликнуться на него не могу, не смею, в моем опыте нет такой заготовки. Если подниму глаза и уставлюсь, произойдет что-то чудовищное... «Ну и пусть»,— говорю себе и поднимаю глаза и впериваюсь... А в ответ только чудесная улыбка. И это улыбка любящей жены. Не любовницы и не влюбленной женщины — жены. Откуда-то мне известно такое. Дикость ситуации парализует, мне бы тоже просто улыбнуться в ответ, сказать что-нибудь бесхитростное и доброе, но смотрю и смотрю и жду, когда она сама поймет неправильность всего и словом или жестом отшвырнет меня на должную дистанцию, чтоб отлететь мне, больно удариться каким-нибудь уязвимым местом, застонать и... образумиться...

Но поскольку ничего такого не случилось, я бросил ложку и кусок хлеба, буркнул: «Спасибо!» — и с шумом выбежал на крыльцо. Она за мной. У крыльца мы опять друг против друга. Свет лампы из кухонного окна освещал ее лицо... Кажется, я наконец застонал.

— Невкусно? — спросила Ксения с обидой в голосе, я же воспринял это, как издевку, не сознательную, конечно, потому и не схватил ее за плечи и не тряхнул, да и не смел... Спросил глухо и жестко:

— Что происходит?

— Не знаю,— ответила она, не опуская глаз.

— Я пойду...

— Подожди, я возьму фонарик...

Ее не было минут пять, хотя помню, фонарик лежал на кухонном столе. Появившись на крыльце, с минуту стояла, медленно спустилась.

— Я провожу тебя, мне скоро на площадку идти, фонарь понадобится...

Механическая светилка жужжала и спасала от разговора. Шли, не касаясь друг друга. У моего крыльца она не остановилась, первой вошла, зажгла лампу, села на стул около печки. Я остался в дверях и смотрел на нее.

— Как ты пришел, с того дня и не знаю, что происходит...

Это прозвучало так серьезно, так по-взрослому, что я будто впервые увидел перед собой зрелую женщину, а не девочку-жену, какой она виделась мне все время. Ситуация приобретала знакомые очертания, сама собой упрощалась, и я почувствовал себя много увереннейей.

— Мне уйти?

— Ты слышал, как кричит кулик? Так и закричу, если уйдешь.

— А вместе?

— Тогда точно умру... Про сына не говорю... Я же Антона до слез люблю, так люблю, что по ночам плачу, когда спит... Плакала...

— Ты понимаешь, что он во всем лучше меня?

Встала, подошла. Волосы ее пахли травами...

— Этого я, кажется, не понимаю.

Я сказал себе: «Все!» Я три раза так сказал себе, и последний раз чуть ли не вслух. Все! То есть, сколько же можно! Я что, «каменный гость»?! Или монах?! Или враг себе?! Передо мной женщина «с единственным лицом во вселенной», и, может, вся моя жизнь ничего не стоит без этого лица, и я сам себе не нужен без него, и мне больше ничего не нужно, пусть завтра подохну, пусть завтра вообще не наступит, а жизнь моя — вот она, это мгновение, когда ее лицо рядом, а вся она — лишь часть меня самого, требующая немедленного воссоединения! Мне больно, мне физически больно от невоссоединенности! Все!

Я схватил ее, как свое по праву, и не ошибся! Она была моя, и она ВСЯ сказала мне об этом! Был бред и неистовство. Я обцеловывал ее лицо, как голодный заглатывает пищу! Я чувствовал себя великим животным, могучим чудовищем, обретшим крылья для воспарения, но не взлетал, а проваливался в прекрасную бездну и трепетал от восторга падения! Я становился тем, чем был задуман Богом,— великим, мировым Инстинктом, единственной правдой Мира! Да чего там! Какой Мир?! Мир — это я, и ничего больше!..

Вырвалась она внезапно. Как потерявший опору, я стоял и качался, задыхаясь. Кажется, пытался протянуть руки, и с руками действительно что-то происходило, они шевелились сами по себе, и губы дрожали, но главное — я не мог рассмотреть ее лица, она собой загораживала лампу, и вообще перед глазами горячий колыхающийся туман.

— Что? — с трудом прохрипел я наконец,

Она всхлипнула, такая маленькая, хрупкая, но уже отдельная от меня, уже не моя...

— На площадку... скоро сеанс... мне надо...

Я ничего не понял из того, что она сказала. Каждое ею произнесенное слово было из какого-то варварского, дикого диалекта, который я тоже, кажется, знал когда-то, но не мог заставить себя вспомнить... Разве на этом языке мы общались с ней мгновение назад? Разве не свершилось наше взаимное преображение?! Я не хочу назад... Вот! Она тоже сопротивляется! Странный звук издало ее горло, если б звук продлился, был бы похож на рыдание, но он раздался и замер, словно она им захлебнулась... Я должен был сделать шаг или два, но лишь попытался, меня откачнуло назад, спиной на дверь, откройся она, и я бы упал... Вдруг она застонала. Громко, громко. Оглушила меня. Я снова прохрипел: «Что?»

— Пусти, пожалуйста! — прорыдала она.

— На площадку? — спросил я и удивился нелепости вопроса.— Ты вернешься?

Она как-то присела, стала совсем маленькой, совсем девочкой, голосом больно раненной птицы крикнула: «Нет!» — и кинулась на меня, оттолкнула, распахнула дверь и исчезла.

Я сполз на пол, откинулся головой на косяк и приготовился умереть, ведь ничего другого не оставалось, я просто должен был погаснуть, как язычок

пламени в ламповом стекле, что заметался, заколебался, закоптил, на глазах утрачивая яркость.

Я смотрел на мечущийся язычок пламени, и казалось, что сам иду на угасание с опережением, я хотел именно так, чтоб свет еще был, когда уйду, я не хотел уходить в темноте, с кем-то или с чем-то мне нужно было попрощаться, прошептать банальное, но неподменное: прости и прощай! Распахнутая Ксенией дверь захлопнулась сама, язычок пламени отчаянно метнулся, выдал струю копоти, присел к фитилю и затем уверенно превратился в светящееся сердечко. Замер. Все принуждалось к продолжению...

«Ну и что?» — спросил я себя спокойно и без особой строгости. Сорвался? Дал слабину? Только головой покачать, чего чуть-чуть не натворил! Но не натворил же! А всего лишь именно дал слабину. И это не смертельно, слава Богу! Утром обсмею себя изысканно, как умею, заштукатурим трещину, женщина она чуткая, поймет, пожалеет и простит, тем более, что все случилось не без ее подачи, этот последний пунктик выделим курсивом...

Пить захотелось нестерпимо. Облизнул губы. Странный, знакомый привкус с неприятными ассоциациями. Коснулся ладонью, посмотрел, ахнул. Кровь! Только этого не хватало! Кусал я ее, что ли! Будем надеяться, что не шибко. Подумать только, как меня скрутило! Ничего удивительного — женщина-то какая... Следовало заранее знать, что коли попал в заповедник, все будет на порядок выше, потому никакой воли чувствам и воображению, если хочешь вписаться в монастырь со строгим уставом. Пить!

Поднялся, словно только что присел по безделию. Чуть не полный ковш зачерпнул. Вода вчерашняя, теплая, но пил жадно, до захвата дыхания. С последним глотком снова почувствовал привкус крови. Зашвырнул ковш в ведро. Дневная усталость, как будто до этого момента лишь зависавшая над моей спиной, вдруг вошла в меня вся, растеклась по телу до кончиков пальцев, придавила к полу, согнула спину, искривила шею, прогнула ноги в коленях. Доплелся до кровати, не раздеваясь, не разуваясь, медленно завалился, раскинув руки. Сердце покачалось на качелях и ушло из ощущений. Надо было бы загасить лампу, учитывая дефицит керосина, но где взять силы... А перед глазами уже какие-то тени или образы, тени и образы разговаривают, и я напрягаюсь, чтобы рассмотреть и расслышать, я вовлекаюсь в сюжет, я уже там, в другой жизни, воссоздаваемой мозгом, отпущенным на вольные хлеба импровизации...

Что-то исключительно интересное происходило со мной. Я совершал великолепные поступки, блистал способностями, вознаграждался благодарностями и захлебывался любовью ко мне всех соучастников моего сна. Я ходил по воде и летал по воздуху, проходил сквозь стены и скалы, разговаривал с рыбами и собаками. Я повелевал и благотворил. Причем я знал, что это сон, и не хотел просыпаться.

Но кто-то вошел в мой дом, еще сквозь сон я услышал шаги. Сонным сознанием я проследил их звук от двери до кровати. Кровать качнулась. Кто-то сел с краю у ног. Чья-то рука коснулась моего плеча. Я застонал, перевернулся на спину и немыслимым напряжением разомкнул веки.

— Ксеня?

— Ты не узнаешь меня?

— О Господи! Юлька! Ну, чего тебе здесь надо? Я хочу спать! Я полудохлая собака...

— Прости, я не хотела заходить, но ты так громко разговаривал, я под окном слышала... Давай я сниму сапоги! Смотри, ты же всю простыню изгадил!

В доме полусумрак, я не мог рассмотреть ее лица. В лампе кончалась заправка, пламя было в четверть пятака. Настырная девчонка вместе с сапогами чуть не повыдергивала мне ноги. Она и раздеть меня пожелала, но это я пресек решительно. И вообще был зол.

— Не сердись,— сказала она требовательно,— я, может быть, последний раз тебя вижу.

— Оставь, мир тесен...

— Это тебе он тесен, все бежишь куда-то. А мне как раз.

— Ладно. Пришла, разбудила, тогда давай рассказывай!

— Что?

— Почему любишь меня не по возрасту и до неприличия.

— А почему ты меня не любишь? — спросила тихо, но вызывающе. Пальцем я ткнул в ее остренький носик и внятно ответил:

— Потому что ты еще эмбрион, заготовка, тебя еще не за что любить.

— Врешь,— прошептала она грустно.— Врал бы хоть, чтоб не обидно было. Меня любят, есть кое-кто не хуже тебя.

— Так в чем дело?

— Будто не знаешь...

— Тогда рассказывай, почему ты любишь именно меня.

Помолчала, потом осторожно, боязливо даже положила свою руку на мою.

— Когда Петр первый раз привел тебя к нам, помнишь, ты стоял посередине комнаты и был тогда такой, какой есть. Я все про тебя поняла. Что ты хороший, что ты добрый и нежный, что совсем не выпендрон, как после представлялся, что если кого полюбишь по-настоящему, тому светло жить... У тебя руки хорошие и глаза, а это самое главное... Нет, не это главное... Даже стыдно, но все равно скажу. Мне рожать захотелось... Девчонки в классе... они даже думать об этом боятся. А я вот так... Это как тебя увидела...

Я приподнялся на кровати, вглядываясь в ее лицо. Лампа вот-вот должна была издохнуть, и стекло закоптилось, но зато глаза присмотрелись. Лицо девчонки было печально, губы подрагивали, в любую минуту могла заплакать. Я и сам расчувствовался, но чувства эти были братские и не более того.

— У вас в семье южные крови, южные женщины созревают раньше...

Она резко отдернула свою руку от моей.

— Нет, подожди, я хотел сказать, что ты, может быть, права, и я не очень плохой человек, мне сейчас важно услышать такое, даже не представляешь, как важно. И если у тебя пока никого другого нет, ты меня люби, пожалуйста, и думай обо мне хорошо. Знаешь, это нужно, оказывается, хоть в чьих-то глазах быть хорошим. Я только сейчас понял, как это нужно. Это как аванс, как точка опоры. Может быть, ты для меня великое дело делаешь. И поверь на слово, в моей жизни теперь такое закрутилось, что, дай Бог, выкрутиться... Чего тебе еще сказать... Не знаю... Но ты, может, единственный человек, перед кем я не виноват ни в чем...

— Ты давай, спи,— сказала она тихо,— а я еще посижу немного, можно? Ложись! Отвернись и спи!

Я так и поступил. Думал, все равно не засну, пока не уйдет, но заснул и как уходила — не слышал.

Была вторая половина серого, пасмурного дня, когда наконец проснулся. В доме сумрак, в душе пакость, в желудке голод. Глянул на стол, где обычно поджидал меня по утрам завтрак. Стол пуст, и сразу не захотелось жить. Глянул на подушку, ахнул — вся кровью перемазана. Вскочил, сунулся в зеркало. Боже! Да что такое было со мной вчера? Озверел я, что ли! А Ксения? Сегодня же Антон приезжает! Догадается ли придумать что-нибудь?

Сдернул наволочку с подушки, сунул под матрац. Мылся, как отскребался. Есть хотелось, хоть руку отгрызай. Но идти туда... Или ждать, пока сама не придет? Или мальчишка... Ну и влип! Исчезнуть бы сейчас отсюда! И это невозможно. Ничего невозможно! Доигрался! Если Ксения до сих пор не пришла, значит, дело совсем плохо, и не остается ничего другого, как уходить.

Но только представил себе путь, однажды проделанный, мурашки по спине побежали. Я не смогу его повторить! Это я знал.

Я сидел на крыльце, обхватив голову руками, и качался из стороны в сторону, стонал и охал, и тоска охватывала небывалая. Даже там, в маневровом тупике, под пулями конкурентов или ментов я не испытывал такого отчаяния, как сейчас на крыльце дома, приютившего меня в поиске Долины Счастья. Опохабил! Осквернил! Испакостил! Как я смел так расслабиться? Ведь все, казалось, под контролем. И цель — чистая жизнь — во имя чего?! Ради мамы... Боже! Об этом лучше вообще не думать! Надо думать как все исправить. Шибко уж худого ничего не случилось. Я раскаиваюсь, и это важно. Я противен себе, и меня можно простить...

В гнетущей тишине сумеречного дня со стороны Озера донеслись звуки, от которых затрепетал. Это был мотор лодки Антона. Все! Варианты упреждения отпали. Теперь только сидеть и ждать.

Тишина вокруг становилась зловещей, зло вещающей. Птицы как пропали, ни единого свиста. Кузнечики, их же на полянке перед домом уйма обычно,— попередохли, что ли... Ни комара, ни паута, ни мухи паршивой... И тишь... Может быть, мир умер или замер, или время остановилось, чтоб вусмерть замучить меня ожиданием... Полоса черемушника, перекрывающая южную часть бухты, казалась отсюда, с крыльца, границей, откуда вот-вот грянет на меня кара и суд человеческий, а до того приговорен я к трусливому высматриванию границы и безропотному ожиданию возмездия... Обреченность моего положения вдруг возмутила и оскорбила меня. В конце концов, не подонок же я, в самом деле! Если я и совершил нечто дурное, то это всего лишь проступок, но не преступление, и потому недостойно прятаться, ведь тем только усугубляю...

Встал решительно, изобразил смелость взора и уверенно зашагал навстречу судьбе. У самого черемушника, правда, замешкался, здесь я еще был невидим, но стоит пересечь, тотчас же предстану... И обратного пути уже не будет...

Пересек. Около дома не было никого. Даже собаки. По времени Антон уже должен быть в доме. Что там? Еще не знал, осмелюсь ли зайти, или буду ждать у крыльца. Когда поравнялся с дровенником, с грохотом распахнулась входная дверь дома и на крыльце появился Антон. За то мгновение, пока он, казалось, в одном броске пересекал расстояние между нами, я даже не успел как следует испугаться. Перекошенное яростью лицо его воздвигалось надо мной, присевшим, значит, все-таки от страха,— нависло, оглушило рычанием...

— Ты! Ты!

Руки-клещи его уцепились-вонзились в отвороты куртки, она затрещала где-то в плечах, плечи мои податливо хрустнули, а сам я вознесся на уровень искаженного злобой лица Антона.

— Ты...ы!

— Ничего не было...— успел я прохрипеть, не сопротивляясь и не желая сопротивляться, но уже понял, что лечу... Головой ударился о поленницу, в глазах потемнело. Антон ворвался в дровяник, и я снова был вздернут его ручищами с побелевшими косточками пальцев. В ярости он, видимо, забыл, что может бить, он просто тряс меня, тряс так, что голова моя беспомощно моталась, через раз контактируя с поленницей. Он вытрясал из меня душу, и я сам готов был помочь ему в этом. Боли не чувствовал, лишь боялся за шейные позвонки и ждал почти с надеждой, когда он начнет бить меня по-настоящему. Но он тряс и хрипел и задыхался хрипом. Голова моя не могла выстоять против поленьев, и чувствовал, как по шее под рубашку потекла кровь. Затошнило, я испугался, что облююсь ему на грудь, такого позора мне не пережить, потому крикнул ему в лицо, уже расплывающееся перед глазами:

— Да бей же ты, что ли!

И тут в дровяник влетела Ксения. Половиной оставшегося зрения я увидел ее и вот тут-то чуть не потерял сознание. Вздувшиеся, будто разбитые губы, шея... милая шейка ее испоганена, и на груди в вырезе кофты...

— Не надо! — закричала она моляще.— Прошу тебя, Антон! Он не виноват! Прошу тебя! Ну, пожалуйста!

И откуда-то сбоку, откуда, уже не видел,— истошный визг:

— Папа! Не бей дядю Адама! Не надо! Дядю Адама! Не бей! Я не буду тебя любить! Не бей!

Антон замер, и я замер, провис в его руках. Пытался прошептать что-то Ксении, но не мог поймать ее взглядом... Сплошная желтая паутина перед глазами. Он швырнул меня на поленницу. На мгновение я все-таки потерял сознание. Когда очнулся, был уже один. Ни боли, ни сил. Тошнота одна. Пополз за поленницу, туда, где мастерская Антона. Валялся на полу, ждал, когда снова почувствую тело. Сколько прошло времени, не знаю. Сел. Напротив, на уровне глаз — Ксения на корточках что-то азартно рассматривала под ногами. Наверное, меня. Я прислонился к ней, деревянной, и заплакал. Не подозревал даже, сколько слез накопилось в моих глазах или где там еще. Выплакивал все, что сэкономил за жизнь. Плакать все же старался тихо, а хотелось реветь на всю вселенную. Сзади услышал шорох. Замер. Кто-то вошел в сарай и стоял у меня за спиной. Медленно поворачивался, всем телом, стараясь не шевелить шеей. Это был не Антон.

— Кто ты? — спросил.

Человек одним движением развалил поленницу, перекрывавшую свет. Свет хлестнул мне по глазам, и они полностью прозрели. Передо мной стоял отец Викторий. Все предусмотренные природой ощущения возвращались ко мне по мере того, как всматривался в его лицо, светящееся торжеством.

— Так! — сказал я, сдерживая дрожь голоса и тела.— Святой Отец пришел получить по счету или уже получил?

Он осмотрелся, нашел чурку, подтащил ее к стене сарая и торжественно уселся в пяти шагах напротив меня.

— Ну, давай, начинай вещать! — Ненависть в голосе я уже не мог скрыть.— Только будь добр, обдумывай слова, потому что меня только что побили, и я не прочь на ком-нибудь отыграться.

Не то презрение, не то снисходительность на его лице. Понять можно! Такого громилу разве только танком повредить можно. Но я могу стать и танком...

— Вспомни,— начал он низким, чарующим голосом,— я показывал тебе звезду в небе. Помнишь, конечно. Так вот, ее больше там нет!

Он вздернул бороду гордо и вызывающе, словно я даже права не имел усомниться в том, что это его работа.

— И что,— спросил я,— мне радоваться или огорчаться?

— Тебе радоваться,— многозначительно ответил он.— Я обязан был прийти и объяснить смысл твоего подвига.

Я осторожно пощупал затылок, посмотрел на пальцы в черной крови, поморщился.

— Что ж, учитывая возможное, за свой подвиг я еще очень даже легко отделался.

— Не знаю,— пожал он плечами,— дальнейшая твоя судьба мне не нужна и не интересна. Ты свершил, что было тебе предначертано, и дальше сам по себе...

— Покончим с преамбулой,— попросил я,— валяй про мой подвиг, я согласен слушать тебя, потому что никто до конца не знает, на какую пакость он способен...

— Какой сейчас год, знаешь. Но это ошибка. Ее совершили астрономы и математики. В действительности,— он вознес палец,— сегодня началось третье тысячелетие. Его могло не быть у человечества, его не должно было быть, но ты! Знай же, ты подарил человечеству продолжение!

Мне было больно смеяться, но разве удержишься тут!

— Браво, святой отец! Какие времена пришли! Всего лишь шишка на затылке и никакого тебе распятия. Во дает прогресс!

— Замолчи ты, паяц! — гаркнул он так, что из-под ног его пыль взметнулась в воздух.— Конец Света, Второе Пришествие — вот что ожидало человечество вчера! ОН, тот, кому вы поклоняетесь на словах, но не верите на деле, ОН уже шел в ваш мир, чтобы свершить суд, Страшный Суд. ОН уже шел, потому что пришло ЕГО число. Ты же, как и все вы, в сущности, нехристи! Вы не ЕГО, а наши, в нас тоже на деле не верящие, но нам плевать, мы в вашей любви не нуждаемся, мы бескорыстны...

Он откинулся спиной на стенку сарая, задрал бороду, издал странный звук, близкий к медвежьему рыку. Я вздрогнул, подумал, а вдруг он эпилептик, сейчас грохнется, задергается, изойдет пеной, а я и сделать ничего не сумею, разве справишься с таким шкафом... Но что-то еще, другое тревогой заползало в душу...

— ЕГО число, оно сошлось, вопреки нам... День в день сошлось. Ты ведь и числа его не знаешь? Не знаешь! Сто сорок четыре! Всего-то сто сорок четыре! Ради них ОН должен был прийти, потому что это число — последнее неделимое ядро ЕГО истины. Оно непобедимо никаким намерением. Мы бессильны против него.

Вскочил вдруг, ко мне кинулся, упал на колени. Ко мне, отшатнувшемуся, лицом к лицу.

— ОН, так называемый Отец ваш любящий — и только ради ста сорока четырех! А остальные! Что им уготовано, миллионам! Знаешь? «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Не убивать, но мучить будут пять месяцев, и мучение подобно будет мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Молнии, громы и голоса сотворят такое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле». Это не я, это не мы, это ОН грозил и обещал, а вы не верили. Вот ты, ты...— палец его уперся мне в лоб,— ты хотел бы такой участи для близких своих и для неблизких и для чужих? Говори!

— А может, заслужили! — зло и упрямо ответил я, не отводя глаз.

— Что?! — взвыл он.— Вот она там, за Озером, страна твоя, одуревшая от свободы, ничего доброго еще не познавшая, кроме свободы ненависти, там сейчас толпы ходят на толпы и в толпах убивают и мордуют, а другие, корыстью изъеденные, тащат и грабят, в чем они виноваты, когда такие, какие есть? Ты не хочешь дать им время перебеситься? Пусть корчатся от яда скорпионова? И никакого шанса? Это ОН так решал и хотел! А ты был избран, чтоб помешать ему и разрушить число, и ты сделал это!

— Да что я сделал, черт тебя побери, космач проклятый!

Отпрянул. Поднялся с колен. Пыль отряхнул. Вернулся к чурке, сел.

— Значит, еще не понял? Ты можешь быть горд. Очень горд. Все те, в столицах мировых, важные и озабоченные, они думают и полагают, что вершат... А история свершилась здесь, на диком берегу жалкого озера. Все они, громогласные и могущественные — только пыль у твоих ног. Так не понял, значит? А все просто. Те, к кому ты спешил по камням и воде, они были в ЕГО числе. И ты разрушил число. ОН больше никогда не придет, и человечество ЕМУ более неподсудно! Свобода! Ты теперь — самый великий революционер в истории!

Сарай огласился мерзким хохотом.

— Понимаешь, Великомудрый перемудрил! Минимальное число людей, живущих по ЕГО законам,— ОН сам изобрел это число, как знак и время ЕГО пришествия. В Сыне ОН приравнял себя к этому числу, и сам стал числом, как когда-то Иисусом из Назарета. И стал уязвим. Ты вроде и сделал-то всего — бабенку одну совратил по простоте душевной, но распалось ЧИСЛО, и больше нет Сына, нет посредника, теперь ОН сам по себе, а люди сами по себе, то есть воистину свободны! И все — благодаря тебе. Возгордись же!

И снова хохот торжествующий.

Одной половиной сознания я не верил и не воспринимал, и вообще будто только присутствовал третьим при беседе двух посторонних. Но другая половина моего сознания сотрясалась ужасом в каждом атоме своем...

— Так,— с дрожью в голосе резюмировал я,— меня послали совершить пакость и пакостью спасти человечество от ЕГО справедливости. Я правильно изложил?

Отец Викторий гадко ухмыльнулся, подмигнул.

— Вот и неправильно. Тебя не посылали. Сам пошел. С добрым намерением. Только так можно было справиться с числом. Я бы не смог тебя заменить. Диалектика!

— Диалектика...— повторил я машинально.— И верно, все просто. Не нужно убивать Авеля, предавать пророка, продавать душу, достаточно быть самим собой на уровне инстинкта, и, глядишь, спасешь человечество... от Бога. Кстати, о числе. Читывал кое-что. У тебя тоже есть число?

— У нас тоже есть число! — ответил он глухо, но торжественно.— Оно совершенно и неповредимо. Пред НИМ оно не рушится, а лишь отступает, подпираемое человеком. Оно прекрасно, наше число, и гармонично, оно постижимо и непостижимо одновременно, и всяк пожелавший найдет себя в нем без насилия над своей природой. Не то что у НЕГО!

Вдруг боль в сердце, острая, как штыком насквозь. Схватился руками за грудь, опрокинулся, скорчился.

— Что с тобой? — холодно спросил отец Викторий.

А я знал? Я вообще не знал раньше, где у меня сердце. Мама когда-то сказала... Мама! Ма...ма! С трудом приподнялся, сел. Собрался с духом.

— А мама? Что это было? Тоже ты?

— Ах, оставь!— И он выдал жест, исполненный такого небрежения, что в глазах у меня потемнело от ярости. Он не заметил, не догадался о моем состоянии и продолжал:— Твоя мать — это всего лишь какая-то женщина, тебя родившая. Твоя любовь к ней эгоистична и неглубока. Ты любишь ее не как личность, а как сосуд, именно тебя взрастивший, в сущности колыбель свою наделяешь чувствами, достойными лучшего приложения. ОН разберется по ЕГО справедливости. Предоставь...

— Заткнись! Ты!

Он вздрогнул, насторожился, вперился в меня испытующим взглядом. Боль от сердца переползла в голову, я сжал ладонями виски, боль поддалась и перетекла в пальцы, пальцы сжались, застыли, затвердели в судороге кулаков. Я отдышался и как мог вкрадчивей спросил:

— Ладно. Сменим тему. А ты сам... Ты кто? Дух или как там, не знаю, какие у вас ипостаси?

Не так уж и светло было в сарае, но даже на расстоянии пяти шагов я увидел, как он побледнел. Мгновенно. Лицо вытянулось. Губы сжались. И он проявил очевидное усилие, отвечая мне:

— Я есть плоть и кровь. Ты это хотел узнать? Я таков же, как ты и та, что случайно родила тебя...

— А если я сейчас встану, подойду и дам тебе по морде, с мордой будет как обычно? Как у всех, кто получает по морде?

— Если есть намерение, свершай.

Но он трусил, я же видел, он трусил, такой громила и бледный, глаза-пятаки, пальцы на коленях когтями... Но и красив! Как же он, сволочь, красив! Стоп! Да он же нейтрализует меня своим видом... Ну, нет! Я вскочил пружиной... Упал мешком. Ноги не держали, подкосились, не успев выпрямиться. У него же лишь усы дрогнули едва, и мне привиделась уже знакомая снисходительная усмешка.

— Ясно,— простонал я в отчаянии,— Викторий — значит победитель. А я дерьмо, червяк, насадка использованная! Так?

— Как подумаешь, так может и быть.

Но что-то не было в его голосе торжества. Наоборот, скорее, подрагивал басишко, и сидел все так же напрягшимся истуканом. Достану! Я перевернулся через спину, рукой попытался вытащить полено из полуразрушенной поленницы. Не справился. Судорожно шарился вокруг и наткнулся на что-то... Этим что-то была Ксения. Я сжимал ее деревянное горло, замахнулся было, но отчетливо услышал ее стон и разжал руку. Уже почти сдался, когда под рукой снова оказалось нечто, исключительно для руки удобное. Ужасом взорвалось лицо отца Виктория. Это я увидел долей секунды раньше, чем то, что летело в него от моей руки — один из топориков Антона, которыми он высказывал мертвому дереву свою любовь к жене...

Вскрикнули мы одновременно, но даже удвоенный крик не смог изменить траекторию. Мой голос потонул в реве раненого гиганта. Отец Викторий опрокинулся с чурки на спину, барахтался у стены сарая, потом поднялся на колени, руками перехватив живот.

— Топо...о..ор! — хрипел он.— О...о! Я же просил тебя не выбрасывать пистолет! Я же просил!

Громоподобный стон его был невыносимее плача ребенка. Скуля, на коленях я подполз к нему. Он выл, задрав голову, закатив глаза.

— Я знал! Ты... Поймешь ли, как это страшно — все знать!

Он закачался, привалился спиной к стене сарая. Сквозь пальцы рук, прижатых к животу, сочилось... Я не мог смотреть! Я не хотел видеть! Но он приказал.

— Смотри! Понимай! ОН, тот, вас любящий! ОН думает, что только ОН может! Смотри! ОН знал, что воскреснет. Что ЕМУ! А мы не воскресаем! Мы все по правде! Это мы за человека! За свободу его! О! Муки! Вокруг НЕГО был народ... А потом легенды... А я! Тебе никто и не поверит. О...о!

Страшный стон его, казалось, поколебал опоры сарая, я даже шею втянул, ожидая обрушения.

— Ве-ли-кий! — заорал он.— Дай мне силу! Не здесь же!..

Медленно, не переставая стонать, он поднимался, сначала одной ногой, подтянулся, подставил вторую, как костыль, не отрывая ног от пола, сделал несколько шагов к выходу и весь белый свет заслонил собой...

«Великий», к которому он обращался, похоже, дал ему силу, забрав ее у меня, потому что я вдруг рухнул на дощатый настил лицом вниз и не мог уже пошевелить ни одним мускулом.

Сколько так провалялся без сил и мыслей, не знаю, но сознания, вроде бы, не терял и краем глаза увидел, как в дверях сарая появился Джек, умная лайка сибирская. Он подошел ко мне, обнюхал и начал лизать мой разбитый затылок. Воспротивиться не мог. А когда показалось, что оживаю, Джек лизнул меня в лицо и убежал. Я поднялся, разминаясь. С порванным животом отец Викторий далеко уйти не мог. Я должен найти его. На пыльном полу следы как две лыжни. Крови не видать... Но за порогом ничего. Стараясь не попасться на глаза хозяевам дома, я на полусогнутых обегал, обследовал все вокруг. Ничего. Поплелся к Озеру.

Всего, случившегося за последние два дня, кажется, было более, чем я мог вынести. Оттого, возможно, эмоции словно выдохлись в недавнем накале, сменились апатией, равнодушием, но притом без вялости, напротив, я чувствовал возвращение сил и... возвращение голода. По берегу добрел до лодки. Антон не успел разгрузить ее до конца, не до того было... Банку свиной тушенки я вскрыл отверткой из ящичка с инструментами. Заглотнул разом и сразу воспрял.

Странно! Я знал, что мне нужно делать! Мне нужно плыть! Перегнулся с кормы лодки и осторожно дотронулся пальцами до воды. Вода была что надо. Но я уже знал коварство Озера. Разулся и попробовал воду ногой. Порядок! Снял куртку или то, что от нее осталось, зашвырнул, разделся до трусов и без всяких пауз пошел в воду. Озеро приняло меня! А когда поплыл, то, ей-Богу, почувствовал заботливую силу глубины, словно кто-то мягко подталкивал меня в живот, оберегая от погружения. Я вспомнил свой когда-то не до конца выученный кроль и теперь с удовольствием демонстрировал его Озеру. Сотню метров или полторы отмахал, когда решил оглянуться. Берег был жалок. Он словно обиделся на меня, присев масштабом. Когда другой раз оглянулся, увидел выбегающие на берег три человеческие фигурки. Через несколько взмахов оглянулся еще и увидел только две. Третья возилась у лодки...

А что, подумал, если все это чепуха, и число вовсе не разрушилось! Ведь это же ЕГО число! И тогда... тогда ничего еще не поздно...

Леонид Иванович Бородин. ЛОВУШКА ДЛЯ АДАМА. *ПОВЕСТЬ*

Ответственная за выпуск *О.Лексикова*
Редактор *И.Платонова*
Технический редактор *Н.Кошелева*
Корректор *Л.Овчинникова*

Главный художник *Ю.Коннов*
© Оформление художника *В.Сафронова*
© Фото *Н.Кочнева*
Учредитель: *ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «РОМАН-ГАЗЕТЫ»*

Сдано в набор 03.12.95. Подписано в печать 26.01.96. Формат 84x108 1/16. Бумага газетная. Гарнитура типа «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,04. Уч.-изд. л. 10,5. Тираж 49 000 экз. Заказ №1588. Цена подписная.

Адрес издательства «Роман-газета»: 107078, Москва, Ново-Басманная, 19. Телефоны редакции для справок: 261-95-87; 267-22-73; 261-84-61. Отпечатано с редакционного оригинал-макета на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате Комитета Российской Федерации по печати (142300, г.Чехов Московской обл.)



ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1996г. ПУБЛИКУЕТ

самые лучшие, самые интересные, самые популярные романы и повести отечественных писателей прошлого и современности; новинки, составляющие литературную сенсацию года!

Повесть классика нашей литературы **Федора Абрамова «ЖИТИЕ МАКСИМА»** неизвестна широкому читателю. Это пронзительная, страстная исповедь крестьянина о своей святой и грешной любви, ставшей для него источником и счастья, и горя. Ни стены монастыря, ни лесная сторожка, куда Максим вынужден прятаться от людей, не могут помешать его встречам с возлюбленной. И только смерть окончательно объединяет их.

Лирическая повесть выдающегося современного прозаика **Василия Белова «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»**— это взгляд из сегодняшнего дня на события полувековой давности. Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в судьбе деревенских девушек, мобилизованных на помощь фронту. Поэтично и взволнованно повествует автор о жизни юных героинь, об их нехитрых радостях, первой любви, первых невзгодах, горьких потерях.

Продолжается публикация романа-эпопеи одного из ярчайших мастеров слова **Дмитрия Балашова «СВЯТАЯ РУСЬ».** В пятой части, названной «Сила духовная», повествуется о непрестанном духовном бдении великого печальника земли русской игумена Сергия Радонежского, «дабы не исшаяла, не расточилась, не растеклась вновь по уделам собранная воедино земля, чтобы не изнемогла и не ослабла единая власть, без которой не стоять Руси великой!» Следующая, шестая часть романа («Кревская уния»), начинается словами, являющимися ее лейтмотивом: «Сейчас, когда в стране всеобщий развал и разброд, буйуют самые низменные страсти и творится всяческая неподобь, когда уничтожают или тщатся уничтожить не только тело, но самую душу, да что душу, самый дух нации, когда повсюду слово Божие толкуют вкривь и вкось, еретики и отщепенцы всех мастей заполонили землю нашу и саму церковь Христову взяли в осаду, надо ли повторять маловерам и легковерам, ослепленным блеском западного земного изобилия (изобилия, поддерживаемого ограбленной Россией), что именно с Запада надвигалась постоянная угроза самому существованию Руси Великой».

Во второй части, завершающей роман **«НЕПРОТИВЛЕНИЕ»,** писатель-фронтовик **Юрий Бондарев** рассказывает о своих сверстниках, выживших и победивших в величайшей битве России с гитлеровским фашизмом. Трудно, подчас наощупь, ищут они свое место в условиях мирной жизни, то и дело натыкаясь на равнодушие, ложь, цинизм. В результате судьба героев повести складывается трагически.

«РОССИЯ РАСПЯТАЯ» — плод нескольких десятилетий творческой жизни великого русского художника **Ильи Глазунова.** Это героическая и трагическая история Родины, жизнеописание ее замечательных сыновей и дочерей. «Верую, что Россия воспрянет!» — вот главный вывод, который делает читатель, прочитав труд И. Глазунова, впервые публикуемый в полном объеме. Один из видных зарубежных публицистов, ознакомившись с этой книгой, воскликнул: «Да это же бестселлер!»

Одиннадцатая часть популярнейшего романа-исповеди **Владимира Успенского «ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК ВОЖДЯ»** посвящена в основном событиям 1945 года, когда И. В. Сталин после победы России над фашизмом оказался на вершине славы. Умолкли пушки, пришла пора восстанавливать и развивать народное хозяйство. Однако Сталин уже немолод, появились соперники, готовые занять его место.

Повесть-эссе **«СВЯТЫЕ КОЛОКОЛА»** замечательного русского писателя **Виктора Лихоносова**— о самом злободневном, самом болевом, самом волнующем, самом сокровенном в нашей сегодняшней жизни.

Роман известного прозаика **Юрия Полякова «КОЗЛЁНОК В МОЛОКЕ»** — это особый жанр сатирической прозы, вскрывающий перипетии жизни творцов от литературы на фоне перестройки. Искрометная, наполненная юмором история о том, как умелые мастера перестройки внедряли лжеидеи и лжеценности с помощью литературы, творя вместе с политиками фантасмагорию нашего времени. Действие романа разворачивается в Центральном доме литераторов и на просторах нашей Родины, переходя океан и возвращаясь обратно; многие герои читателю знакомы, о прототипах других, слегка завуалированных, можно догадаться по ходу действия.

Один из лучших современных прозаиков, лауреат премии им. И. А. Бунина **Борис Екимов** в повести **«ВЫСШАЯ МЕРА»** приглашает читателя к серьезному размышлению о мере ответственности каждого из нас за все, что мы совершаем. Герой повести — Костя Любарь приходит к полному краху и только тут, на краю бездны, наконец, осознает всю низость своей бездумной, хмельной, грешной жизни, запоздало кляня себя за то горе, которое принес родным людям — матери, жене, детям.

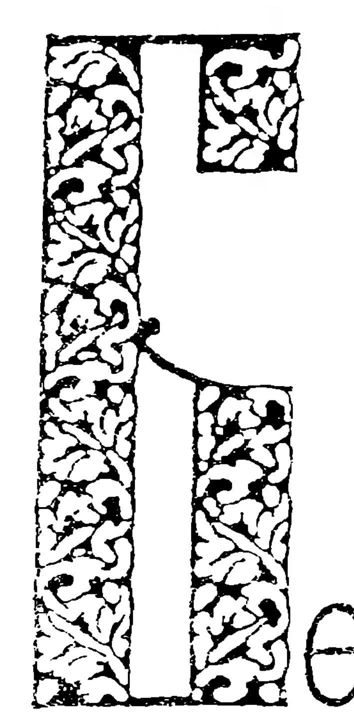
Писатель **Иван Евсеенко,** один из первых лауреатов премии им. И. А. Бунина, широко известен по публикациям в центральных литературных журналах. Новая его повесть **«ЧЕРВОННАЯ ДАМА»** — романтическое, остросюжетное произведение, действие которого разворачивается в нашей провинции, а затем переносится в Париж и Гренобль. Кто-то, возможно, заметит в сюжете и в названии перекличку с «Пиковой дамой» А. С. Пушкина, но автор и не скрывает этого.

Историческое повествование **«АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА»,** за которое автор **Валерий Шамшурин** был удостоен в 1995 году двух премий — имени В. С. Пикуля и имени Н. М. Карамзина, ярко и увлекательно рассказывает о подвиге нижегородского ополчения, в 1612 году освободившего Москву от польских захватчиков. Это событие, герои которого Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский навечно вписаны в историю России, по своему драматизму и национальной значимости стоит в одном ряду с Куликовской битвой, 1812 годом, Великой Отечественной войной.

Короткая повесть **Олеся Бенюха** взята из авторской серии «Проза Смутного времени». Героиня повести **«КНЯГИНЯ»** — красивая, одаренная девочка из неблагополучной семьи попадает в типичные обстоятельства сегодняшнего дня: едва не погибает от рук бандитов, чудом избегает публичного дома за рубежом,— и, наконец, становится женой миллионера.

За активную работу по подготовке
и проведению мероприятий, посвященных
празднованию 100-летия со дня рождения
великого русского поэта Сергея Есенина,
издательство «Роман-газета» награждено Дипломом.
Диплом подписал Председатель Российского
организационного комитета,
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Ю.Яров.





Русский литературно-исторический журнал на Родине и в рассеянии

Бежин луг

«БЕЖИН ЛУГ» — это высокий символ центральной коренной России, испокон веков игравшей консолидирующую роль в отечественной истории. Шелковистое разнотравье «БЕЖИНА ЛУГА» подарило миру целую плеяду замечательных мастеров слова — В.Жуковского и А.Болотова, А.Кольцова и И.Никитина, братьев Киреевских и А.К.Толстого, А.Фета и А.Апухтина, Л.Толстого и Г.Успенского, И.Бунина и Л.Андреева, Б.Зайцева и З.Гиппиус, Е.Замятина и А.Платонова... Тихий нетленный огонек «БЕЖИНА ЛУГА» на протяжении многих десятилетий согревал сердце И.Тургенева в его прекрасном французском далеке — как, впрочем, и великих русских изгнанников уже в XX веке.

Эталонными образцами нашего классического наследия открывается каждый номер журнала под рубрикой **«Сокровищница Бежина луга»**.

В разделе **«Литература — единая неделимая»** публикуются произведения ведущих русских прозаиков и поэтов — П.Проскурина, Г.Горышина, В.Лихоносова, В.Потанина, Н.Старшинова, Н.Тряпкина, В.Верстакова, Ст.Золотцева, Н.Коняева, И.Рыжова, Г.Горбовского и др.; талантливых молодых литераторов различных регионов России; доселе неизвестных на Родине авторов Русского Зарубежья.

В разделах **«Страницы русской истории»**, **«Архив Бежина луга»**, **«Россия на карте мира»**, **«Андреевский флаг»** читатель познакомится с материалами из отечественных и зарубежных архивов, а также со статьями и исследованиями, посвященными актуальным вопросам прошлого и настоящего нашей Родины. Интересны и во многом неожиданны публикации под рубрикой **«По страницам русской зарубежной печати»**.

В разделах **«Жизнь и судьба»**, **«Семейные хроники»**, **«Живая память»** представлены мемуарные жанры, а также материалы, связанные со знаменательными литературно-историческими датами текущего года.

Под рубрикой **«Духовный мир России»** выступают известные философы, политологи, иерархи и клирики Русской Православной Церкви. Журнал постоянно публикует на своих страницах материалы Всемирного Русского Народного Собора, а также знакомит по наиболее характерным фрагментам с книжными новинками в рубрике **«Круг чтения»**.

«БЕЖИН ЛУГ» издается под эгидой Всемирного Русского Народного Собора и Союза писателей России при участии администрации Орловской области.

Журнал выходит шесть раз в год и распространяется на пяти континентах планеты.

Объем отдельного номера 20-22 авт. л.

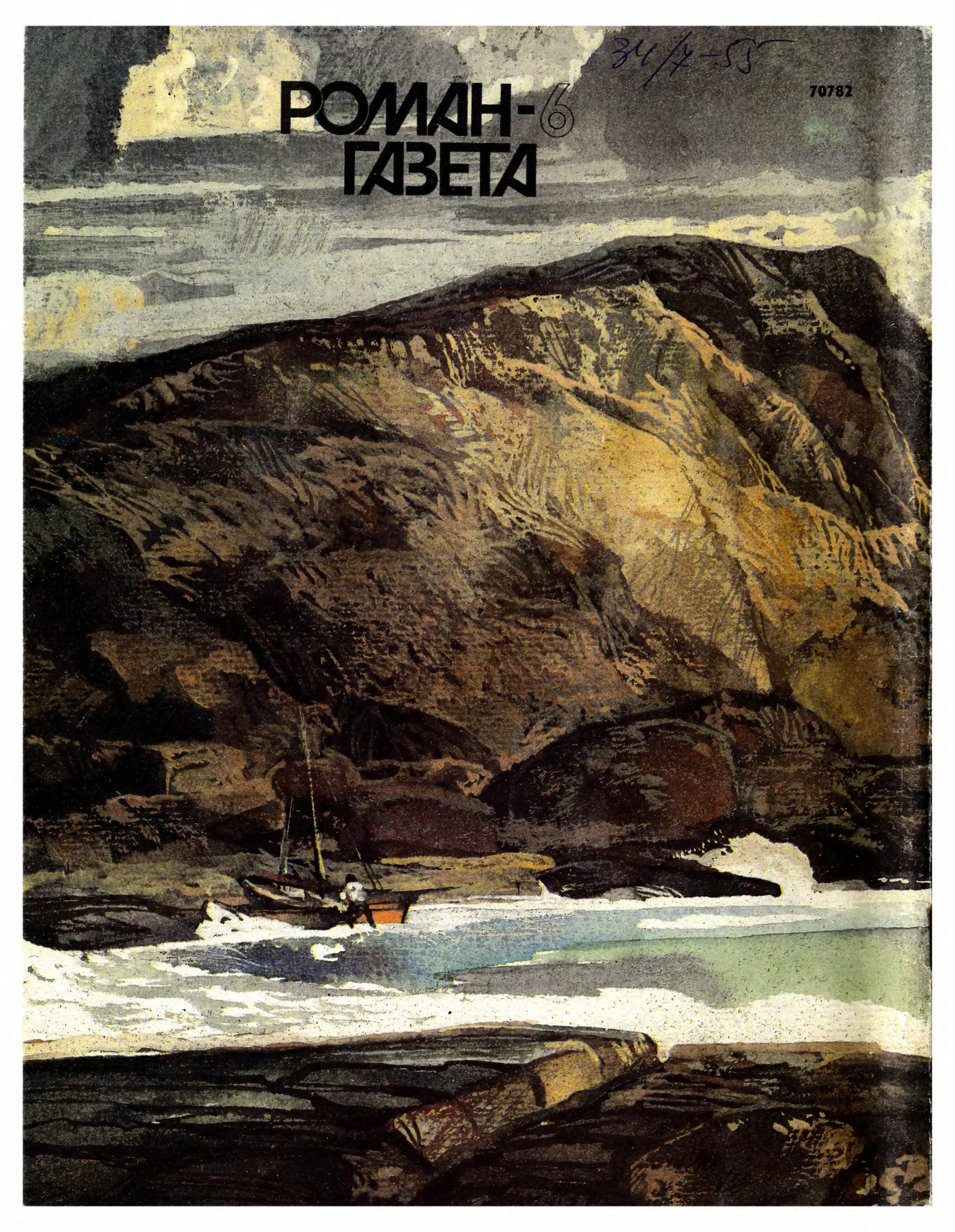
Подписаться на журнал «Бежин луг» можно во всех отделениях связи, а за границей — в отделениях агенства "Международная книга"

Индекс — 73087

Адрес редакции: 107078 Москва, Ново-Басманная ул., 19.

Телефоны для справок: 261-95-87; 265-41-08.

Читайте, выписывайте, распространяйте журнал «БЕЖИН ЛУГ» — и в ваш дом придет подлинная русская история, подлинная русская литература!



РОМАН-ГАЗЕТА 6
70782